

Геннадий  
Прашкевич

СЕНДУШНЫЕ  
СКАЗКИ



Геннадий Прашкевич  
**Сендушные сказки (сборник)**

«Литературный Совет»

2015

**Прашкевич Г. М.**

Сендушные сказки (сборник) / Г. М. Прашкевич —  
«Литературный Совет», 2015

Север занимает значительное место в творчестве Геннадия Прашкевича. Широко известен его исторический роман «Секретный дык», но, конечно, не мог писатель весь собранный им материал вместить в одну, пусть и объемную книгу. Роман «Носорукий» (история поисков живого мамонта на Индигирке по указу царя Алексея Михайловича), повесть «Ставшие ветром» (загадочное, не во всем еще объясненное исследователями «сидение» Семёна Дежнёва на реке Погыче, он первым обогнул на своем деревянном коче самый восточный мыс Азии), наконец, волшебные «Сендушные сказки» – всё это прекрасная картина давней Сибири, ее полярных сияний, ее сказочной дымки. И ключ ко всему в последних строках «Сендушных сказок»: «Летел гусь над тундрой. Увидел – человек у озера сидит. Сел рядом на берегу, долго на человека смотрел, ничего в нем не понял и полетел дальше».

ББК 84(2Рос-Рус)

## Содержание

Носорукий	6
Глава I. Стрела в снегу	6
Глава II. Первая смерть	21
Глава III. Гологоловый	39
Глава IV. Баба	48
Конец ознакомительного фрагмента.	53

# **Геннадий Прашкевич**

## **Сендушные сказки**

© Прашкевич Г. М., 2015

© ООО «Литературный Совет», 2015

## Носорукий

### Глава I. Стрела в снегу

#### **НАКАЗНАЯ ПАМЯТЬ ВОЕВОДЫ ЯКУТСКОГО ВАСИЛИЯ НИКИТИЧА ПУШКИНА КАЗАКАМ, ОТПРАВЛЯЮЩИМСЯ НА РЕКУ БОЛЬШУЮ СОБАЧЬЮ**

*Лета 7155-го от сотворения мира в 5-й день по государеву, цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Руси указу, такоуж по приказу воевод Василия Никитича Пушкина, да Кирила Осиповича Супонева, да диака Петра Стенишина наказная память сыну боярскому Вторко Катаеву да служивому человеку кормицику Гераське Цандину со товарищи дана.*

*Итить ему, сыну боярскому Вторко Катаеву, из Якуцкого острога до Большой собачьей реки. И там, место выбрав, ставить с великим радением дальнее зимовье для розыску и приводу под государеву высокую руку тамошних юкагирех неясашных, род рожси писаные. И жить в том острожке с великим бережением, блядни не разводить, в день и в ночь в воротах караулы ставить, чтоб рожси писаные, пришед, дурна никакова не сделали. А сыну боярскому Вторко Катаеву искать по сендушным землицам зверя большого носорукого, в котором месте пристойнее и где доведетца.*

*И буде сыщется и объявится тот зверь, имать зверя.*

*А поставив зимовье и зверя сыскав, тотчас нарошно от себя отпустить человека в Якуцкий острог, ково доведетца. А с ним про все доподлинно отписать: в которую он, сын боярский Вторко Катаев, землицу пришел, и кто у него возж, и сколько людей служилых и промышленных, и какие в той новой землице людшки, и много ли их, и почему всякие их родимцы не платят государеву ясаку.*

*А получив весть от сына боярского, служивому человеку кормицику Гераське Цандину со товарищи брать большой коч или в каких судах мочно поднятца на Большую собачью. В том коче или на тех судах ехать до зимовья, поставленного сыном боярским. Попутно смотреть, какие у тое реки берега, и есть ли на них какие выметы, и есть ли какие угодские места и лес, который бы к судовому и ко всякому другому делу пригодился. Или горы, да буде горы? И какие горы: каменные ли, высокие ли? И какова в тое реке вода, и мечет ли из себя на берег какой зверь?*

*А сыскав зимовье, поставленное сыном боярским Вторко Катаевым, служивому человеку кормицику Гераське Цандину взять на коч людшек и зверя носорукого, у него рука на носу, и коч проводить в Якуцк незамедлительно и с великим бережением.*

*И того им, сыну боярскому Вторко Катаеву и служивому человеку кормицику Гераське Цандину, смотреть и беречь накрепко, чтоб на зимовье и на судах пива и браги и воровства не было, и зерню бы служилые люди не играли и государева жалованья, и казенных пицалей, и казенного платья с себя не проигрывали. И самим напрасно налоги не чинить и для своей бездельной корысти ни в чем к служилым и к промышленным людям не приметыватца, и всяких кругов, и бунтов, и особинных одиначеств нигде не заводить, чтобы ни в чем от тех шаткостей порухи государеву делу не было.*

*А буде они, сын боярский Вторко Катаев да служивый человек кормицик Гераська Цандин, учнут делать по изменничью, и зверя того, у коего рука на носу, не сыщут и не доста-*

*вят в Якуцк в добром здравии, быть им обоим по государеву указу в жестоком наказании без пощады.*

Ущелья, перевалы, замороженные леса.

Казачи шли и шли верста за верстой, теряли счет пройденному.

Были ущелья, где по стенам нависало снегу так, что боялись говорить даже шепотом. Большое преступление говорить громко в таких страшных местах, даже кликать друг друга. Бежали молча, подталкивая олешков, придерживая собак. Были перевалы, где уже сил не доставало, – все равно шли. А где выпадал такой снег, что собачью ногу напрочь отнимало.

Людей ни разу не встретили.

Не встретили и никаких животных.

А все равно Христофор Шохин, вожатый, опытный проводник, вож, как называли его, нанятый сыном боярским Вторко Катаевым в Илимском остроге, вел казаков уверенно, будто случалось ему бывать в здешних местах. Но не бывал. Просто характер такой – уверенный. Сам побит оспой, хмур. Прятал под меховой капор бугристую, вбок сдвинутую кожу лица (медведь, дед сендушный босоногий, лапой пометил, так и заросло). Часто моргал, страшно подергивал некрасивым, сильно вывернутым, всегда красным веком, чесал пятерней бороду. Всего-то вож, нанятый на казенные деньги, а держался особенно, будто шел передовщиком.

Под повизгиванье собачек, под меканье олешков скатывались на лед какой замерзшей реки. Лед обдут, прозрачен. Под зеленью, как под слоем мутного стекла, стремительно проносятся длинные белые пузыри – как во сне, волшебю, без звука. На крутых склонах с силой запружали нарты приколами – крепкими палками, вырезанными из березы. Для верности торможения подвязывали за нартами свободных олешков, и олешки людей понимали. Важно колыхались коричневые бока. Несли над собой, как короны, подрезанные, чтобы не путаться, рога.

Вдруг падало эхо, неизвестно где родившееся.

Казачи вздрагивали. Аргиш сбивался. Один глупый олешек задней ногой вступал в дугу барана, другой тыкался в спину бегущего впереди человека. Летели на снег сумы, в которых везли припас: юколу для собак, муку для людей, железные ножи-палемки для дикующих, рож писаных. Для них же, писаных, железные топоры, котлы медные, да одекуй, бисер синий.

Шли.

В мороз над аргишем, как туман, вставал пар от дыхания.

Чуть недосмотришь – один олешек завьет постромки, другой, глянув на такое, встревожится. Собачки, те спокойнее. Собачки любят человека и тянут нарту со всем терпением, и выдастся отдых, снег не ковыряют. Падают и, поскуливая, выкусывают из-под когтей остренькие ледышки.

Степан Свешников, передовщик, ни на час не сбавлял хода, заданного раньше сыном боярским. Широкоплеч, бородат. Глаза голубые. Те, кто знали Степана Свешникова по Якуцку, никаких сомнений в нем не испытывали, и все равно даже они втайне дивились, никак не могли понять: ну почему все-таки предовщиком сын боярский Вторко Катаев поставил именно Свешникова, а не Федьку, скажем, Кафтанова, человека, сыну боярскому близкого?

Вслух несогласие с выбором выказал только вож.

Но Свешников оказался терпелив, с вожем не спорил.

Помнил, помнил, наверное, странного думного дьяка, прибывшего в Якуцк из Москвы. Стоял в памяти тот дьяк. В самой тайной стороне памяти. Тихий, именем не назвался, никуда и не выходил, но принимал гостя сам воевода Пушкин, потому все безоговорочно клонили перед дьяком головы. Вызвал Свешникова в пустую приказную избу (будто специально всех куда

отослали), зажал тяжелую палку между колен, смотрел долго. Весь заволосаченный. Волосы падают даже на глаза, бородища тугая. Совсем сумрачный себе на уме дьяк.

И спросил сумрачно:

«Готов служить?»

«К тому призваны».

«Я не о той... Я о верной службе...»

Долго смотрел. Все так же сумрачно:

«Боярину Львову Григорию Тимофеевичу готов служить?»

«Да как так? Неужто жив? Как нашел?» – задохнулся Свешников.

«Григорий Тимофеевич далеко зрит. По всей Сибири имеет глаза, сам часто просматривает списки новоприбылых. – Дьяк сумрачно покачал головой. – Ты за собой след оставил, могу посадить в колодки. Но пришел не за этим...»

«Да чем служить могу?»

«Терпением, тщанием, – подсказал дьяк. – Боярин Львов как Аптекарский приказ возглавил, так сразу сказал искать тебя. Не верил, что с рваными ноздрями лежишь где-нибудь в земле. – Как бы подвел итог: – Прав оказался».

И выпучился на Свешникова, поскреб бороду, будто мухи в ней.

«Жди, явится к тебе человек, назовется Римантас».

«Какое нехорошее имя», – перекрестился Свешников.

«Литовское, – перекрестился и дьяк. – Но ты не бойся. Это имя для тебя – знак».

«Да где ж он подойдет? Я год, может, буду в пустой сендухе. Там и русских нет».

«Не знаю, – сумрачно сказал дьяк. – Твое дело помнить. Завтра или через год, но явится некий человек, назовется литовским именем. Может, помянет гуся бернакельского, чтобы ты его с каким другим случайным Римантасом не спутал».

Когда сказал про гуся, Свешников понял: тайный дьяк действительно послан добрым барином Григорием Тимофеевичем.

«Запомнишь?»

«А то!»

«Явится, такому человеку доверяй».

«Раз надо, буду, – положил крест Свешников. – Только где встречу такого?»

«Судьба покажет».

«И в чем верить ему?»

«Во всем, – не совсем понятно объяснил дьяк. – Скажет, вернуться в Якуцк – вернешься. Скажет, кого убить – убьешь. То, что сделаешь, перемены в Москве произведет».

И не сказал больше ничего.

Шли.

Безлюдье, глушь, дыхание заходится от мороза.

На каждой стоянке вож моргал страшным красным веком, заставлял выставлять караулы. Свешников не перечил. Помнил строгий царев наказ: «Жить с великим бережением». В темной ночи сворачивали, скрипя полозьями нарт, к рошицам черных ондуш, ставили островерхие чумы-урасы, крытые ровдугой – коричневыми шкурами олешков, выделанными в замшу. Такое покрытие не мокнет под дождем, не ломается зимой на холоде. Рубили сухие ветки. Тихий призрачный дым вставал над дымовыми отверстиями каждой урасы. Перекусив, заворачивались в заячьи одеяла. Втайне надеялись, что сегодня вож забудет.

Но он не забывал:

«В караул!»

А от кого караул, зачем?



Конечно, ворчали. Утром, обирая иней с мохнатых ртов, сердито подманивали олешков: «Мэк, мэк, мэк!» Варили болтушку, вставали на лыжи – шли.

Было казаков – десять.

Сперва – больше. Но на Чаинских пустошах в горелых зимних лесах тайно отстали от аргиша Гаврилка Фролов да с ним Пашка Лаврентьев. Отстали не просто так, отстали воровски, хитро – с нартой, с казенной пищалью, с нужным припасом. Специально хотели отстать, вот и отстали. Сын боярский только сплюнул. Быть беглецам в жестоком наказании без пощады!

Казаки переглядывались. Быть-то быть, но земля пуста. Эти заворовавшие Гаврилка да Пашка вовремя спохватились. До Москвы из здешних мест хорошего ходу – года три. До Якуцкого острога меньше, но все равно в глуши, сквозь холод, тьму. А на пути – племя писаных рож. Про них говорили – людей ядят!

А еще вдруг сдал сын боярский. Перед последним острожком по названию Пустой (за ним – полная неизвестность, не ходил никто) окончательно занемог. Вож Шохин, угрюмо и страшно помаргивая вывернутым красным веком, вырезал для Вторко Катаева клюку из листовнического корня. Но поход не богомолье, и с клюкой тоже далеко не уйдешь. В острожке Пустом сын боярский да вож шептались аж до утра. Казаки храпят, несвежим дыханием колеблют слабый свет лампадки, а из тьмы (Свешников неподалеку лежал) шепоток:

«Неужто правда?»

«Слово в слово... Особенный человек... Фиск нынче везде, потому и следы скрывай...»

«А воевода?»

«Он помнит...»

Непонятно, о чем шептались.

Правда, Свешников сильно и не прислушивался.

Лежал, думал: а вот почему так странно говорил московский дьяк в Якуцке? «Скажет, вернуться в Якуцк – вернешься. Скажет, кого убить – убьешь. То, что сделаешь, перемены в Москве произведет». А какие такие перемены? И откуда в совсем пустых местах взяться человеку с литовским именем? Не прост воеводский наказ. Можно сказать, даже неслыханный. Пойти к Большой собачьей реке и поймать зверя носорокуго, у него рука на носу. Поймать того зверя и сплавить кочем до моря, а потом по Лене до Якуцка. А дальше – сообразим.

Потрескивала лампадка. Ночь.

Только в углу зимовья глухой шепоток.

Наверное, о чем-то важном договорились той ночью заскорбевший ногами сын боярский Вторко Катаев и страшно помаргивающий вывороченным веком вож. А может, наоборот, не договорились. Но утром сын боярский сообщил: «Невмочь мне с вами дальше идти. Клюка в таком пути не помощник. Встанет теперь передовщиком Свешников».

Услышав такое, Федька Кафтанов просто оторопел. Остро глянул на близких дружков – Косого да Ларьку Трофимова. Дескать, понятно, что государевых людей должен вести в сендуху государев же человек, но все равно: почему это Свешников? Чем лучше других? Или сильно грамотен? Да Ганька Питухин обойдет его по любой лыжне, а Елфимка Спиридонов, сын попов, куда грамотнее.

Сын боярский нехорошо насупился, и Кафтанов отвел глаза.

Так и осталось неизвестным, о чем шептались в ночи вож и сын боярский.

А отряд с этого часу повел Свешников. Не найдут зверя, знали, ему отвечать. Это утешало даже Кафтанова.

Шли.

Гольцы – ледяные.

Дух спирало от высоты.

Нескончаемой ночью, пугая, вспыхивало небо.

Взвивались с полночи, с севера, зеленые, голубые, фиолетовые стрелы, всегда оперенные незнакомо. С безумной скоростью неслись вверх, разворачивались в лучи. От цветных стрел и лучей отпадали и гасли в полете смутные пятна, тоже разных цветов. Глядя на это, вож поднимал к небу страшное, искалеченное медведем лицо:

– Юкагыр уотта убайер.

То есть шалят рожи писанные!

Ох, шалят, разжигают в ночи костры!

Всё валил на дикующих. Как бы даже побаивался.

И Свешников тоже присматривался. Много хотел понять.

Вот вож Христофор Шохин – молчун. Часто молчит, а если вдруг говорит, то грубо. В пути дерзил всем, даже передовщику. При этом все знали, что сын боярский Вторко Катаев, подыскивая проводника, почему-то одного за другим отверг трех опытных вожей и дождался именно Шохина. Среди отвергнутых оказался Илья Никулин, водивший в сендуху самого Постника Иванова – енисейского казака, распространившего русский край на реки Яну и Большую собачью. И два других вожа были опытные. А все равно сын боярский дождался Шохина.

Да и то. Дело такое. По слабому следу, продавленному медведем – дедом сендушным босоногим, Христофор Шохин сразу определял: сердит или так гуляет; по размахке шага указывал – торопится зверь или некуда ему спешить. Видел тайное, укрытое от человеческих глаз. Но вот странно: мимо срубленной ондушки, северной лиственницы, точнее, мимо ее черного высокого пенька, торчащего из сугроба, прошел, к примеру, будто ничего не увидел. А не увидеть ее никак нельзя было. Та ондушка срублена была, *ссечена*, ее не сломали. На косом срезе даже шапочка снега не удержалась.

– Смотри, Христофор, – остановил вожа Свешников. – Ведь топором ссечена?

Он не просто дивился. Он вправду дивился. О племени писанных рож известно – дики. Очень дики. У них тяжелые ножи-палемки, топоры из камня, из реберной кости. А тут железо.

– Мало ли...

Дразнился вож.

Показывал: хоть ты передовщик, веду казаков я.

Свешников обиду проглотил. Не до обид тут: край чужой, дальний. Никак без одиночества нельзя. Но все равно постоял, как бы отдыхая. И внимательно следил: кто и как проходит мимо того пенька?

Гришка Лоскут, скуластый, здоровый, ноздри широко вывернуты наружу, ссеченной той ондушки не заметил, торопился в голову аргиша, его очередь подошла с Ларькой тропу топтать. За Гришкой размахисто ставил ноги заиндевелый Ганька Питухин. За ним цыганистый Митька Михайлов, Ерило по прозвищу. А вот русобородый Федька Кафтанов, кажется, заприметил странный пенек. Даже кивнул идущему за спиной Косому, как бы с тайным значением. Рядом бежал подслеповатый Микуня, но он если бы и захотел, ничего не заметил.

Микуню Свешников жалел.

Человек ростом с собаку не может рассчитывать на успех.

В якуцких царских кружалах Микуня пропивался до нательного, до дрожи. В драках непременно получал увечья. А то в сендухе брал морошку, вышел на него сендушный дед босоногий. Часа три Микуня ползал в сырости на коленях перед босоногим, пел песни, сыпал поговорками и прибаутками – ублажал как мог. Сендушный дед от удовольствия взрыкивал, вставал на дыбы, ласково обходил Микуню по кругу, лапой не бил и когтем не когтил, – слушал. А в младых годах в Смутное время гуляющий Микуня было пристал к воровским дружинам, шедшим из Путивля на Москву. Видел совсем близко от себя Болотникова – крестьянского царя. Знал, что Иван Исаевич прошел через многие тягости, например, через татарский плен,

турецкую каторгу. Греб на галерах басурман, скучал по всему русскому. Микуня радовался: вот всем миром сажаем на престол совсем своего царя. Правда, никак не мог понять: зачем простодушный крестьянский царь верит лукавому князю Шаховскому? У того ведь своя, *дворянская* смута. И почему рядом с крестьянским царем идет Прокофий Ляпунов – жестокий боярин?

Из села Коломенского нес Микуня в Москву подметные письма. На лесной дороге наткнулся на конную группу. Все ладные, смотрят с жесточью. Впереди боярин Ляпунов – осанистый, бородатый. Руки в боки: чего это несёт среди дня так смело подлого мальчишку? Приказал: дай посмотреть! Письма прочел, выкатил злобные глаза. Как так? Холопы, мол, побивайте господ! Да что же такое? Вот, мол, холопы, будут вам в награду жены господские, имена убитых, боярство, воеводство, вообще всякая честь! Да кто такое мог написать?

Побагровел от гнева: «В батоги!»

Жестоко избитый Микуня отлежался в сарае.

Без всякого удивления узнал, что позже тот жестокий боярин предательски оставил крестьянского царя Болотникова и перекинулся на сторону царя Василия. Опять же позже видел столбы, как дьявольскими плодами обвешанные телами бунтовщиков. Задохнулся от ужаса: сам может попасть на любой! Так страшно ужаснулся, что бросился бежать далеко – в сторону Сибири.

И пошла всякая жизнь.

Видел – напраслину, смерть, слезы.

Бежал по стране ночами, таясь, как зверь.

На севере промышлял зверя, даже стал потихоньку забывать о страшном взгляде боярина Прокофия Ляпунова. Но в шестнадцатом году случайно наткнулся на стрельцов, хорошо знавших Микуню со времен тушинского вора. Улещая недобрых стрельцов, отдал им все накопленное, бежал дальше. Сильно бедствовал. Пристрастился к винцу. Варил на Каме густую соль. А дело это непростое, тяжелое. Дров на варницу идет много. Черпаешь ведром соленую воду из глубоких колодцев, вливаешь в железные сосуды, варишь, дышишь, а ноги слабеют, руки дрожат, потихоньку уходит по капле жизнь. Собравшись с силами, дал зарок никогда не брать в рот пагубного крепкого винца, может, вернуться тихо в Москву. И как бы в ответ на такой зарок повернулась к Микуне удача. Приказали ему доставить государю Михаилу Федоровичу, первому Романову, десять сибирских соболей – живых, добрых, черных.

Сам понимал: удача. Летел как на крыльях. Чечуйский волок одолел со товарищи за полдня. Через каких-то три недели был уже в Туруханском. А в Мангазее напрямую дохнуло в лицо – языком, шумом, людьми. Правда, болота и реки в ту пору еще не промерзли – пошла мешкота в пути. Лишь под Обдорском потянуло настоящими холодами. Вот там и утек ночью со стана самый большой, самый добрый соболь. Сам утек и чепь серебряную унес на груди.

Убоясь жестокого наказания без пощады, утек и Микуня.

Погибал в совсем диких лесах. Прибивался к варнакам. В самом плохом костришном зипуне появился однажды в Якуцке. Хорошо, в Якуцке всегда есть нужда в людях: поверстали Микуню Мочулина в простую пешую службу. Тело усталое, дух робкий, но когда крикнул казенный бирюч Васька Кичкин охотников ловить большого зверя носорокого, у которого рука на носу, сам себе дивясь, явился в приказную избу. Шмыгал носом, преданно смотрел в глаза сыну боярскому Вторко Катаеву. Тот спросил пораженно:

– Дойдешь хоть в одну-то сторону?

– В одну точно дойду.

Сын боярский хмыкнул. Понял, наверное, что надеется Микуня на коч кормщика Гераськи Цандина. Вот, дескать, в одну сторону сам дойду, а в другую – вернусь на коче. И Свешников тоже смотрел на Микуню, покачивая головой.

Шли.

От острожка Пустого, где оставили заскорбевшего ногами сына боярского, двигались по пустым снежным пространствам. Свешников только фыркал, вспоминая: «Вот явится однажды к тебе человек, назовется Римантас. Это имя для тебя – знак». Ага. Встретишь тут кого, жди. Морозом выпирало воду из трещин, гнало по льду рек. Что-то страшно ухало, булькало на перевалах. Обмерзали растоптанные сапоги-уледницы, схватывались хрупким ледяным чулком. Уставали, протапывая узенькую тропу в глубоких снегах. И все равно самое тяжкое – караулы.

Ночь. Прокаленная луна. Белка прыгнет на ветку, бесшумно осыплет сухой снег.

От кого тут сторожиться? Зачем? Тут и людей вообще никаких нет. Только над головой дивный разгул – пламя, лучи, огнистые стрелы. Христофор Шохин дернет ужасным вывернутым веком, заберет в кулак бороду, намекнет: юкагире! Это в небе костров их отблеск. Пугал: писаных рож так много, что когда зажигают костры, все небо начинает светиться. Белая птица летит над кострами, в час делается черной от дыма. Ужасно объяснял: у писаных по щекам, по лбу, по шее – черные полоски, точки, кружочки, за то их прозвали писаными. А ядь их – мясо оленья да рыба, ничего другого не ведают. Ну, разве иногда ядят друг друга. Гость придет, угостить нечем, закаляют к обеду детей, а иногда и самого гостя. Шел ты в какое другое место, умно рассуждают, а пришел к нам, значит, ты и есть наша пища. Невелики ростом, плосколицы (вож презрительно косился на Лоскута, почему-то не терпел Гришку), но стрелять из луков весьма горазды – тупой стрелой издалика бьют соболя. Еще, пугал, живет в сендухе такая самоядь: сверху рот на темени. Эти совсем не говорят ни слова, а если мяса хотят поесть – крошат под шапку. Егда, пугал, имать человека ясти, тогда плачуть и рыдают, так жалеють его. И совсем не знают боязни, потому как постоянно жуют вяленое сердце деда сендушного босоногого. Пожуют, пожуют и еще пуше, чем прежде, распалются.

Ураса заснежена. Под пологом дым ест глаза. А Шохин моргает ужасным красным веком и говорит страсти. Конечно, казаки на это кто как. Кто-то перекрестится, кто-то сплюнет. Только Федька Кафтанов, румяный, придвинется ближе, слушает зачарованно. Нет-нет да переглянется особенным взглядом с дружками – с Косым и с Ларькой.

– Ты про носорокуго расскажи, – сбивал вожа Свешников. – Как имать такого?

– Да еще и стеречь! – заранее пугался Микуня. – Встречал ли сам-то его?

– Сам не встречал, – моргал вож красным веком. – А писаные рассказывали. Они все видят в сендухе. Вот выйдем на них, укажут след, выведут в нужное место. Называют искомого зверя холгут, а иногда – турхукэнни.

– Как понимать такое?

– Ну, вроде корова. Только земляная.

– А почему корова? Вымя есть? Почему земляная?

Шохин неопределенно пожимал плечами, казаки переглядывались. Сами не малые дети, всякое видали. Некоторые добирались чуть не до чюхоч, на краю земли кололи морского зверя железными спицами. Но чтобы вдруг земляная корова...

Качали головами.

А вож продолжал пугать.

Вот, к примеру, видел след в сендухе.

В ширину – аршин, рядом груды помета и дух – самый непристойный, сладкий.

Но самого зверя не встречал, качал головой Шохин, прятал в ладонях страшное лицо. Наверное, редок зверь. Может, в сендухе занесло его при потопе – очень старинный зверь. А может, просто взялся перепить реку Большую собачью да лопнул. Подтверждал угрюмо: вот выйдем на писаных, они укажут след. К месту вспоминал, что якуцкого промышленного человека Стёпку Никулина такой вот старинный холгут метал прямо через большой ледяной бугор.

Булгуннях – есть в сендухе такие. Стёпка с той поры дома сидит. Все болеет и жалуется. А еще, вспоминал вож, некоторые юкагирские князцы прямо похваляются: вот-де у них шаманы не раз катались на земляной корове. Помнут особенной толкуши – кореньев, ягоды, рыбьей икры, пожуют сушеного мухомора и айда в сендуху кататься на земляной корове.

Свешников задумывался. Это правда. В Якучке в питейной избе всякое можно услышать. Но есть ли сам такой зверь? Может, это мечта одна? Кости холгута Свешников сам держал в руках – тяжелые, темные, благородные, но некоторые говорят, что кость подземной коровы растет как бы сама по себе. Летом оберешь какую полянку, а через год она снова усыпана костями.

Внимательно присматривался к казакам.

Набирай людей сам, от некоторых бы отказался.

К примеру, зачем в отряде Микуня? Хорошо, если правда дойдет хотя бы в одну сторону. Или тот же Косой? Всё своё что-то подсчитывает в уме. Такой про гуся бернакельского никогда не слышал. Или Федька Кафтанов – жаден, о звере не думает. Как бы в шутку предложил однораз: на кой ляд нам зверь старинный? Да от него и пахнет, наверное. А мы найдем писаных и возьмем на себя ясак.

Свешников вздыхал: набирай сам людей, взял бы Гришку.

Мало что беглый, зато из тех, кто скучает покоем. Как парус на мачте-щегле полон собой лишь в бурю. Синие глаза настоже, ноздри дерзко вывернуты, глубоко можно заглянуть. Правда, ждать от него литовского имени трудно, тем более крикнуто в Якучке государево слово на Гришку Лоскута: он воеводу Пушкина в бунте казачьем брал за груди. Правильно говорят: ум у казака есть, а благоразумия ни на полушку. Когда-то в Москве на глазах у Гришки зарезали его отца пьяные литвины. (Значит, может знать нехорошие имена!) В драке Гришка жестоко искалечил двоих, третьего прибил до смерти, пришлось сойти в Сибирь. Просился на новую реку Погычу с Иваном Ерастовым, но и самого Ерастова не пустили: перешел Ивану дорогу казачий десятник Мишка Стадухин. Ерастов тогда заворовал, устроил бунт. Гришка по природной горячности своей шумел, может, громче всех. Но Ерастов увел бунтовщиков в Нижний собачий острожек на Колыму, а Гришка отстал. По хмельному неразумному делу сильно куражился над известным торговым человеком Лучкой Подзоровым. Потом одумался, ударился в бега. Плутал в глухом лесу. На снежной тропе наткнулся на отряд сына боярского. Пал в ноги сыну боярскому Вторко Катаеву: «Возьми!»

Сын боярский, зная правду, гневно топал ногами на Гришку: «Вор! Вор!»

Но Лоскута взял: крепкий телом. Может, тем спас от близкой виселицы. Такой, конечно, про бернакельского гуся не слышал, зато хорошо будет искать зверя. Да и путь у него теперь один – вернуться с удачей. Удастся привести носорокуго, воевода Пушкин многое простит.

Или Ганька Питухин. Этот – полуказачье, новоприбранный. «Явится к тебе человек, назовется Римантас». Усмехался про себя: Ганьке этого не понять – прост. Зато горазд носить тяжести, торить тропу в снегах. А зверь... Ну что ему зверь? Найти бы какую яму, да загнать в нее зверя. Только где найти яму в сендухе? В каменных вечных льдах даже могилу не вырубишь. А была бы яма, тогда совсем просто. Загнали бы в яму носорокуго, морили голодом, пока сам не попросил бы еды. Тогда ослабшего отвели бы на коч кормщика Герасима Цандина. Рекой и морем, а потом еще рекой – в Якучку. Оттуда своим ходом – до Камня.

А там и Москва.

Боярин Морозов Борис Иванович, собинный друг царя Алексея Михайловича, знает все государевы слабости: и рыб, и соколиную охоту, и интерес к живым диковинным зверям. Тех зверей отовсюду с Руси свозят в государево село Коломенское. Всякие там есть звери, но нету такого старинного. Даже неистовый Никон, посвященный в архимандриты, каждую пятницу наезжает к заутрени в придворную церковь, чтобы подолгу побеседовать с государем о важном и диковинных зверях, обитающих в разных сторонах Руси, тоже.

Алексей Михайлович, царь Тишайший, прост. Он и богомолец усердный, и постник, и людей рассуждает в правду – всем поровну. Рассылает корма убогим, всячески вспомоществует, а вечером и в непогодь забавляется в Коломенском сказками бахарей – слушает про глубокую старину, томится и думает о державе. Необъятна наша держава, зыбки ее мысленные пределы, даже непонятно, где она кончается на севере, где на востоке. Как такую пространную держать в руках?

Приведем носорокуго, думал про себя Свешников, царь обрадуется: «Да что за невиданный зверь такой? Да почему с рукой на носу?» Удивится, впадет в сильное изумление. Потрясенно обратится к собинному другу: «Кто такого привел?»

Боярин Морозов охотно ответит: «Казак Стёпка Свешников».

«Почему никогда не слышал о нем?»

«А скромн, – пояснит Борис Иванович. – На глаза сам не попадается. Бывало, и воровал, да вины свои загладил».

Шли.

Собачки хорошо тянули.

Обычно собачья упряжка легко несет трехпудовые сумы да уметный неприкосновенный запас. Олешки тоже хороши в работе, но, устав, норовят лечь, а собачки, даже выбиваясь из сил, будут тянуть до края. Запуржит, завьет дымом снег, олешки полягут, не подынешь, а собачки до конца будут тянуть на неприметный дымок. А олешкам не до людей. Они сендушные. Им нет дела до человека.

Впрочем, Свешников на собачек смотрел хмуро. Случалось, снились ему собачки. Тогда просыпался со стоном, пугал казаков. Приподнимался на локте, стряхивал с себя заячье одеяло.

Шли.

На привалах прихлебывали кипяток на шиповнике.

– Без благовести и крыночку не поставить, – нарочито громко жаловался Микуня Мочулин. – Нечистая сила враз чувствует слабинку. Это всегда так. Меня много раз дразнила.

– Ну?

Да вот не везло Микуне.

Например, на Камне в Ильин день пошел в лес.

Не надо ходить в лес в Ильин день, знал это, а пошел, глупый. Издали заметил большую черемуху, всю в ягоде, ну, подумал, оберу. А когда человек идет вот так без всяких сомнений, нечистая сила вокруг скопляется. Микуня идет, идет, а чудно в природе, и не приближается к нему черемуха.

– Это лешак тебя водил, – знающе кивал Федька Кафтанов.

– Зато здесь пусто. Никто не будет водить, – предполагал Микуня.

– Ты что! – возражал Кафтанов. – И тут свой лешак.

– А почему же так пусто?

– Да потому что проиграл лешак в кости свое зверье. И птиц проиграл, и зверей. Вот и нет тут никого, самому стыдно показаться.

Гришка Лоскут, раздувая ноздри, интересовался:

– А коли поймаем зверя, *всем* какая выйдет награда?

– Ну, такая, что хочется ее. А тебе, Гришка, особливая!

Караульный, заиндевав, заглядывал на шумный смех в слабо освещенную урасу.

– Тебе особливая выйдет награда, Лоскут. Возьмут тебя писанные за пушистый хвост.

Казаки смеялись, а Микуня мечтал:

– Печь умею пирог морковный. У него дух!

– Да ну, дух! – презрительно кривился Косой. – Это ты, Микуня, никогда не пробовал моего винца! Вот где дух! Народ завсегда оставался доволен, я проницательное винцо курил. Чарку примешь, всю ночь не спишь. А уснешь, диковинные сны тревожат.

Елфимка, сын попов, строго напоминал:

– Чарка – в жажду, чарка – в сладость, чарка – во здравие. Все остальное – в бесчестье, в срам.

– Да я больше и не предлагал, – отворачивался Косой.

– А я предлагал! – На голос этот сразу поворачивались бородатые лица. – А я предлагал, – хмуро повторял Шохин, ужасно моргая красным вывернутым веком. – Было на реке Яне схватили дикующие меня и Михалку Цыпандин. Он потом на Ковыме утонул...

Из рассказа Шохина получалось, что дикующие, выскочив внезапно, уперли копья в грудь казаков. А было у них богато – две пицали на двоих, правда, порохового зелья ни грамма. Потому их и схватили. Шаман Юляду, худой, как оленья жила, сказал, бия в бубен: «Вот каких странных людей мы поймали! Вот пусть десять дней живут, нам от того удача будет!» Шохин будто бы удивился таким словам: «Ну пусть. А потом дальше пойдём?» Шаман Юляду тоже будто бы удивился. Сухие человеческие кости подержал над огнем. «Нет, однако не пойдете. Потом убьем вас». Услышав такое, Михалка Цыпандин обреченно махнул рукой: «Ну, твоя правда, Юляду. Ну, пусть десять дней. Все равно все божи. Только не притесняйте нас. Дайте сараны, нарвите сладкой травы, поставьте железные котлы, приготовим для вас невиданное угощение».

Дикующие спросили шамана: «Можно?»

Шаман человеческие кости подержал над огнем, разрешил.

Дали казакам сарану, у нее стебли с лебединое перо, снизу красные, сверху зеленые. Михалка Цыпандин смешал сарану со сладкой травой, что похожа на русский борщевник. А корень сладкой травы – толстый, длинный и разделен на много частей, негромко объяснял Шохин, не сводя глаз с бледных огоньков в очаге. Наверное, видел в огоньках что-то свое невидимое. Снаружи такая сладкая трава желтоватая, а внутри – белая. На вкус сладкая и пряная, как перец. Мишка Цыпандин аккуратно нарезал много стеблей, соскоблил с каждого тонкую кожицу раковиной и вывесил на солнце. Когда трава завяла и покрылась сладкой пылью, положил в травяной мешок. Сок этот столь силен, что кожа горит на руках. Поэтому, когда кусаешь сладкую траву, губами ее не надо трогать, пробуешь на один зуб. Я, сказал Шохин, не выдержал, говорю: «Брось, Михалка, улещать дикующих, нам бежать надо». А Цыпандин говорит: «Ты не торопись, Христофор. Ты лучше снимай стволы с пицалей». А я говорю: «Как так? Это же государево оружие». А Михалка: «Ну, государь далеко, а дикующие рядом». Шохин после этого переспрашивать ничего не стал, ловко снял стволы, а Михалка сложил сладкую траву в воду, заквасил с ягодами жимолости и голубики. Тогда крепко закрыли сосуд, завязали, поставили в теплое место. Прошло несколько времени, этот сосуд стал дрожать. Стал покачиваться, извергать небольшие громы, клетотать, как кипящая вода. Пришел шаман Юляда, сбежались дикующие. «Тот шум в сосуде. Он что предвещает?» Покачал над огнем человеческие кости. Показались легкими. Сказал: «Так думаю, хорошее предвещает. Вот каких интересных поймали людей! Когда убьем, их кости высушу, шаманить буду».

Осталось три дня до смерти, дикующие готовиться начали к веселому.

Но Михалка тоже готовился. Он обретенную брагу залил в котлы и плотно закрыл деревянными крышками. А вместо труб вмазал стволы от государевых пицалей. Прямо в утро последнего дня объявил шаману: «Вот, Юляда, совсем вкусная вода. Необычная, веселящая. Сейчас пить будем, радоваться будем. Потом нас убьете».

Первым попробовал шаман Юляда. Стал веселым. Стал весело разводить руками, потом упал, посинел. От такого вина всегда происходит сильное давление на сердце, потому и называют давёжным. Сильное, вредное для здоровья вино, кровь от него сворачивается. Но веселящее. Дикующие посмотрели, как шаман веселится, сами стали пить. Стали весело разводить руками. Потом, как шаман, упали. Шохин сказал: «Ну что, Михалка, бежим?» А Цыпандин стал смеяться: «Да не торопись ты, Христофор. Я свое вино знаю. Дикующие долго пьяными будут. Проснутся, выпьют простой воды и опять захмелеют. А мы соберем нужный припас в дорогу. Зачем торопиться? Отдохнуть будем. С дикующими женщинами спать будем».

Так и поступили. Три дня жили с дикующими женщинами, собрали припас. А если какой дикующий просыпался, не жалели ему веселящей воды. Потом, конечно, ушли.

– А стволы пищалей? – спросил хозяйственный Ларька.

– А что стволы? Мы могли жизнь оставить.

Казачи посмеялись.

– Вот приведем носорокуго, воевода даст награду.

– А как без этого? – кивнул Лоскут. – Свешникову как передовщику выйдет, наверное, боярское жалованье.

– Это сколько же? – шурился Кафтанов.

– Ну, если настоящее боярское, – неторопливо подсчитывал Ларька. – Тогда, если настоящее, значит, так. На душу – двадцать четей ржи. Столько же овса. Да три пуда соли. А в чети – четыре пуда двадцать три фунта ржи. – Оглянулся на Свешникова. – Вот как нынче везет человеку. – Хозяйственно, руки складывая на груди, спросил Шохина: – За котел красной меди, Христофор, что писаные дают?

– А сколь войдет в тот котел собольих шкурок, столь с них и бери.

– Так много же это. Они поймут, хоть и глупые. И не дадут ничего.

– А без котла им какая жизнь? Шкурок у них много. Им этого зверька совсем не жалко. Они эти собольи хвосты в глину замешивают, когда строят полуземлянки. Для крепости.

– А в Москве, – хозяйственно прикидывал Ларька, – за доброго соболя можно выручить до пятнадцати рублей. А домик можно купить – за десять. А овцу вообще по десяти копеек.

– Вот-вот, – неодобрительно косился Елфимка, попов сын. – Богатии обнищают, а нищии обогащают.

– Рот закрой, наглотаешься дыму!

Шохин тоже шурился, подтверждал:

– Здесь большая сендуха. Здесь много добра.

Странно вдруг намекнул, приглядываясь к казакам:

– Знал одного горячего человека. Ухо у него топырилось. Когда-то ходил в подьячих, привык закладывать за ухо гусяное перо. Однажды собрал ватажку и самовольно, без царского наказа, ушел далеко. Говорили, что на реку Большую собачью. Сильно хотел разбогатеть.

– А потом?

– Ни слуху ни духу.

– Ты это про Песка, что ли? Про вора Сеньку Песка? – В глазах Лоскута вспыхивал тайный интерес. – Куда он ходил, знаешь?

Шохин ужасно шурился, подмаргивал:

– Никто не знает. Не сыскал тот Сенька пути.

Свешников про себя дивился: «А чего Шохин сердится? Чего ему тот вор? Зачем вспомнил, зачем говорит так горячо? Может, это Шохин однажды назовет нехорошее имя, помянет бернакельского гуся?»

А разговор в уресе нисколько не утихал.

– Крупного надо брать! За крупного зверя награда выйдет крупнее!

– Ну, крупного, понятно. Ну, наверно, возьмем! А как кормить и стеречь такого?



– Да и как брать самого крупного? – по делу вмешивался Михайлов. – Может, просто напугать? Гнать по насту?

– Да он же бабки пообдерет.

– Ну и хорошо. Станет смиренный.

– А если яму выдолбить? – мучился Микуня. – Если выдолбить яму, чтоб зверь ввергся в нее?

– Да какая тут яма в сендухе? – сердился вож. – Сплошной лед. Писанные покойников не прячут из-за этого в землю.

– Как так? А куда же девают их?

– Подвешивают в шкарах к деревьям.

От вожа несло жаром, силой, чесночным духом. По свернутой набок роже видно, что драл его не только медведь. И про вора Сеньку Песка, наверное, вспомнил потому, что запомнился ему чем-то вор. Опытный человек, много знает. Плавал по Лене, ставил зимовья в низах Большой собачьей. Громил олюбенского князца Бурулгу. Тогда на русский острожек, где отсиживался Шохин со товарищи, каждый день бросалась шумная толпа самоеди. Отбили нарты с припасами, многих ранили. Кого в лицо, кого в руки, а Шохина – в ногу.

– Шли по сендухе двое писаных рож, – вдруг вспомнил, моргая ужасным красным веком. – У одного табак, у другого ничего. Один дым пускает, другой просит: дай! Первый засмеялся, не дал. Оно, понятно, обида. Другой не выдержал, ткнул товарища ножом. Пришел к русскому зимовью, показывает кисет с табаком. Я спрашиваю: откуда у тебя? Он жалуется: да вот отнял у товарища. Очень много товарищ имел табаку, жалуется, а мне не дал. Ну, ткнул ножом жадного.

– А ты? – замирал Микуня.

– А я что? Я по справедливости, – отворачивал лицо Шохин. – Я успокоил писаного. Я ему сказал: это не ты ткнул товарища ножом. Это собственная жадность ткнула твоего товарища.

От смеха с урасы ссыпался снег.

Смеялись по-разному. Попов сын – в ладонь, смущенно. Ганька Питухин – в полный голос ржал, ровно конь. Микуня мекал, как олешек. А Косой да Кафтанов, те даже присвистывали от веселья. Ну, рожи писаные, смеялись. Ну, глупый народец!

– А какие они? – спрашивали.

– Душой – простые, – помаргивал вож. – А шаман носит при себе зашитые в мешочек человеческие кости. Бросает сало в огонь, от него дым идет. Качает над дымом мешочек с костями. Если кости тяжелые, значит, плохой ответ, значит, не начинай задуманного. А если кости легкие, смело начинай. Я это всё хорошо знаю. Я сам многих дикующих привел к шерти, к государевой присяге. Рассеку живую собачку напополам, размечу надвое и пускаю самоедь в промежуток. Они должны при этом пить кровь, метать землицу в раскрытые рты. И обещают мне через специального толмача: вот коль не станем всем животом служить великому государю, тогда твоя палемка пусть рассечет нас, как ту собачку. А кровь, кою пьем, зальет нас. А земля, которую мечем в рот, совсем задавит.

– И верили такому?

– Еще как! – нехорошо отворачивался Шохин. – А то ведь не прикрикнешь, совсем ясак не понесут. А ясак не понесут, значит, воевода пустой останется. А воевода пустой останется, нас будет драть.

Рассказал и такое, что в сендухе будто бы живет чюлэниполут – старичок сказочный. Совсем маленький, лысый, бегаёт босиком по ледяным озерам, оставляет следы пальцев в снегу. Если кто потеряется в сендухе, значит, съел того человека чюлэниполут. Дикующие из-за этого боятся сидеть на берегу озера. Считают, что может ухватить снизу за бороды.

– Да какие у них бороды?

– Ну, за что другое.

Шли.

От Егорьева дня на утро Ганька Питухин и Лоскут выгнали на наст лося.

Тяжелый зверь проваливался, рвал жилы о ледяные закраины, искровянил всю снежную поляну, но людей к себе не подпустил. Вгорячах Митька Михайлов выловил с нарты пищаль. Старинная, колесцовая, по ложе вязью выписано: «Яковлевы ученики Ванька да Васюк». Митька, торопясь, специальным ключом завел стальную пружину. При обратном вращении колесико шаркнуло о кремень, воспламенился порох на полке. Ахнуло. Снесло пулей лосю полчерепа. Густо запахло среди снегов сожженным зельем.

– Кто посмел? – выскочил на поляну вож.

Сгорбившись, как медведь, пошел на Михайлова.

Тот, оскалась, выхватил нож. Было видно, что пырнет человека, не задумается. Правда, Свешников успел, бросился – разнял, отпнул ногой подвернувшуюся собачку. Удивился вместе с Митькой: да чего тут бояться? Совсем пустая сторона? Кто услышит тот выстрел?

Шохин только злобно сплюнул и ушел в голову аргиша.

Пластая ножом сырую лосиную печень, Лоскут дразнил Косого:

– Ты лосиную печень ешь. Ты ее больше ешь. Это сильно помогает от зрения.

– Так это помогает, когда оба глаза, – не понимал насмешки Косой. – А у меня, видишь, один.

– А ты больше ешь. Может, вырастет.

Лось пришелся в самую пору. Мяса не жалели, но кое-что приберегли и в запас. Неясно, как там обернется дальше. Торопились до ледолома выйти на восточную сторону Большой собачьей. Только вож после Митькиного выстрела впал в большую угрюмость. «И чего боится?» – не понимал Свешников.

Шли.

Горы вдруг отступили.

И траурные ондушки, помеченные черными шишечками, день ото дня становились мрачней. Утонышаясь, разбегались в разные стороны. Уже не лес тянулся, а одна за другой отдельные рощицы. Потом вообще пошли только отдельные деревья. Но вож и здесь шел не оглядываясь, без сомнений.

– Почему знаешь дорогу?

– Мне свыше дано, сердцем чую.

А сам нехорошо и быстро подмигивал:

– Вот подмечаю, Степан, ты собачек сторонисься, а?

– Ну и что?

– Да так...

Ускорил шаг.

А ночью, когда все спали, позвал: «Степан!»

«Ну? Чего?» – шепотом отозвался.

«Шаги. Ходит за урасой кто-то».

«Так это же Ларька. Сегодня он в карауле».

Удивился: «Ты чего-то боишься, Христофор?»

Вож ответил загадочно: «Степан, ты богатым был?»

«Богатым? – удивился Свешников. – Нет, кажется, нет. Вот грамотным был. И всяким другим был. А богатым – не привелось».

«А я был. С неизвестных рек бедными не возвращаются».

«Где ж твое большое богатство?»

«Завороженным оказалось».

«Это как?»

Шохин промолчал. Но чувствовалось, приподнялся во тьме на локте.

«Ты вот, Степан, идешь за зверем старинным, – зашептал. – Это как бы твоя мечта. Так и мое богатство...»

«Непонятно говоришь».

«Подожди...» – прижал руку к губам вож.

Хруст легкий. Но мало ли. Потом лиственница ахнула, как пицаль, в ночи. Наверное, лопнула от мороза.

И снова явственный хруст.

«Медведь?»

«Да ты что? Зачем босоногому?»

Как ни хотелось, а сбросили заячьи одеяла, вылезли на мороз. В смутном лунном свете, разбавленном морозом, увидели мрачную кривую ондушу. К ней привалясь, сладко дремал озябший Ларька, ничего не слышал.

– Чья стрела?

Шохин страшно захрипел.

А в снегу правда – чужая стрела.

Короткая и тупая – на соболя. С коротким костяным наконечником.

В общем-то, обычная стрела. Дикующие называют такие – томар. Они шкурку зверя не портят.

– Не наша стрела, Степан!

А то! Сам вижу. Конечно, не наша! Может, вор Песок обронил, почему-то подумалось Свешникову. Проходил здесь когда-то и обронил. А теперь выдуло стрелу ветром.

– Не наша стрела, – хрипел Шохин. – На меня стрела!

– Окстись, Христофор? Ты соболя, что ль?

– Знак это!

– Да чей?

Шохин выпрямился. Как бы пришел в себя. Шагнул к задремавшему Ларьке. Жестоко пнул под живот обледеневшей уледицей. Бросался и снова бил ногой. Сперва шипел от злости, потом молча. Ларька упал, отполз в сторону.

Ночь.

Утром, переругиваясь, снова вязали собак к потягам. Злой Ларька косился на мрачного Шохина. Вож о той чужой стреле никому не сказал ни слова и Свешникова упросил молчать. Теперь помалкивал, подманивал олешков. Снег вокруг крайней урасы сильно затоптали, разгляди, где валялась та стрела? Пойми, кто потерял? Правда, за увалы уходил по снегу некий заметный след. Может, прошел учуг, верховой олень. А может, и дикий. Задержавшись, Свешников взглядом проводил свой аргиш. В общем, тоже ничего особенного – снег да снег. Бугор торчит ледяной, верх обмело. Ну, голая черная ондуша. Совсем ничего особенного. Обронить стрелу мог любой дикующий. А потом кольнуло вдруг. Почему это на траурном деревце светлое пятно?

– Вот чудно, – сказал вслух. – Береста.

И правда береста. Белая, без раковин, без зубцов. И чем-то твердым выдавлена по бересте извилистая долгая линия, совсем как река, повторяет ее изгибы. Может, и впрямь река, подумал Свешников. И какие-то крестики выдавлены. Какие-то приметные места обозначены.

Вот чей чертежик? Писанный шел, оставил знак другому писаному? Или какой вор оставил след? Стеснило сердце.

– Степа-а-ан!

Услышав крик, спрятал бересту в ташку, в поясную суму.

– Степа-а-ан!

– Ну, чего кричишь, Микуня? Зачем отстал от аргиша?

– Степа-а-ан, Христом Богом молю, не брось!

– Да о чем ты?

– Измаялся я, Степан. Вот держусь, вида не подаю, но вконец измаялся. Когда-то бабка-повитуха так про меня и сказала: этот неизлечим, потому как с младенчества мается. А теперь вот мучает куриная слепота.

– Чего ж такой глупый с нами пошел в сендуху?

– Так соболи же! Мяхкая рухлядь! – зашепшил, заторопился Микуня. – Я, может, последний раз в жизни вышел в сендуху. А у меня нюх. Прямо нечеловеческой силы нюх. Я чую, найдем богатого соболя. А соболю, он и перед слепым блестит. Прошу, Степан, слезно, не брось! В пути я слаб, верно, но на зимовье – лучший помощник. И очаг согрею, и пищу сготовлю. – Указал на след ушедшего вперед аргиша. – Ты сам посмотри. Никакого одиначества у нас в отряде. Идем вместе, а на деле у каждого свое. Кафтанов даже не стесняется уже нашептывать, что никакой зверь нам не нужен. А Шохин сам смотрит зверем, как бы не бросился. Сердцем чую, Степан, худое случится.

– Не каркай.

– Не буду. Только не брось меня.

– Обещаю, – подтолкнул Микуню. – Иди.

Проследил, как кинулся по лыжне Микуня. Покачал головой, не любил пророчеств. А ведь Микуня не знает ни про стрелу томар, ни про бересту на ондушке. Может, правда крадутся за отрядом писанные рожи? И без того холодно, а от таких мыслей вообще мороз. Нет, прав, точно прав Шохин. Нужны, нужны караулы.

## Глава II. Первая смерть

### **ОТПИСКА ДЕСЯТНИКА КАЗАЧЬЕГО АМОСА ПАВЛОВА В ЯКУТСКУЮ ПРИКАЗНУЮ ИЗБУ ОБ ОТПУСКЕ С РЕКИ БОЛЬШОЙ СОБАЧЬЕЙ СЫНА БОЯРСКОГО ВТОРКО КАТАЕВА**

*Государя, царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Руси стольнику и воеводе Василию Никитичю Пушкину, да Кирилу Осиповичю Супоневу, да диаку Петру Стенишину десятничешко казачий Амоско Павлов челом бьет.*

*Во нынешнем во 155-ом году послан тобою сын боярский Вторко Катаев на реку Большую собачью, где людишки живут юкагире, там же род свой, рожки писанные.*

*Из Якуцкого острога ушел, путь одолев немалый, много он, сын боярский Вторко Катаев, ногами заскорбел. В острожек Пустой придя, подал челобитную. В челобитной той сказано, что немощен он теперь, скорбен и государевы дальняя службы служить не может.*

*И яз, Амоско Павлов, десятничешко твой, со служилыми людьми досматривал сына боярского – он немощен.*

*И яз оставил его при острожке ждать открытых путей, а буде те пути откроются, с сыном боярским ясачный збор казну соболиную отправлю в Якуцк.*

*А для государевы дальняя службы, для прииска и для приводу под государеву высокую руку людишек рож писанных и для сыска и приводу зверя большого носорукого, у него рука на носу, яз, десятничешко твой, разумением своим поставил передовициком служилого человека казака Стёпку Свешикова, коий выслан в Сибирь с Москвы и переведен в Якуцк по енисейской отписке.*

*А с ним ушли в сендуху:*

*казак Ларька Трофимов, отец у него из гулящих,*

*казак Микуня Мочулин, пришел в Якуцкий острог гулящим, поверстан в пешиую казачью службу,*

*казак Косой, ссыльной человек, прислан с Москвы с отцом своим Ивашкой Косым за многие винные и табашные провинности,*

*казак Федька Кафтанов, а отец у него из гулящих людей в службе,*

*казак Елфимка Спиридонов, попов сын, а выслан на строга в Якуцк за описку в титле государевом,*

*казак Ганька Питухин, переведен в Якуцк по илимской отписке,*

*казак Митька Михайлов, прозвищем Ерило, уроженец томской, сослан с Томска в Якуцк с отцом своим Данилой Михайловым за известный тот томский бунт,*

*вожатый – промышленный человек Христофор Шохин.*

*Да просил он сказать, сын боярский Вторко Катаев, что которые людишки самовольно не схотели итить в те дальние государевы службы, как Гаврилка Фролов да Пашка Лаврентьев, тем, коли явятся, никакова государева жалованья не давать и ждать до тех пор, как их сотоварыщи не придут со служб дальных.*

*К сей отписке яз, десятничешко твой Амоско Павлов, руку приложил.*

*Шли, дивясь безлюдью, смутной мгле.*

*Помнили: людишек ядят рожки писанные. Гость если придет – ребенка в котел, а то и самого гостя. А сами некрасивы, сердиты, ростом не вышли. Хоть что с ними делай, дикуют.*

Шли.

Вож спал теперь в глубине урасы.

Не у входа, как раньше, а в самой глубине, у костерчика.

Жаловался: вот усталость ломит кости, у огня поспособнее. Ведь кто, как не он, чаще всех идет в голове аргиша?

Еще вчера теснились вокруг ледяные горы, а вдруг страна начала выравниваться. Поредели темные лиственничные островки, сухие ондуши торчали уже совсем отдельно, будто кто специально развел деревце от деревца. Снег поблескивал как глазурь, празднично. Охромел, порезавшись о наст, коричневый оленный бык, смирный, как русская корова. Быка перевели в хвост аргиша. Дело простое – пойдет в котел.

Шуршишь лыжами, думаешь.

Свешников вздыхал: непонятно.

Сперва эта ссеченная железом ондуша. Потом чужая стрела, берестяной чертежик. Так и правда выйдет из-за куста человек, назовется каким литовским именем. Земля здесь не меряная, застав нет. Шуршал лыжами.

Ночью казаки храпели.

Сердился, бил ногами под одеялом Ерило.

Цыганистый, намотавшийся, видел, может, во сне городишко над Волгой, тот самый, в котором впервые узнал, что страдать можно понапраслине. Попал там на ярмарку. Квас разный, понятно, винцо, веселые медведи боролись, посередине стоял столб, смазанный салом, – наверху новые сапоги. Ерило ловко лез по столбу, но когда протянул руку к сапогам, снизу указали: вон, дескать, тот цыганистый, он кур таскал со дворов!

Чистая напраслина, а взяли в батоги. Теперь дергается во сне, вспоминает прошлое. Такой не запомнит гуся бернакельского. Он и обид-то своих почти уже не помнит, простая душа. И уж лучше его терпеть, чем слушать вечерами распалившегося Косого.

У Косого одно. Соболь-одинец. Соболь в козках (шкурка целиком снята, с лапками и с хвостом). Соболь непоротый. Неустанно всем напоминал, что за шкурку хорошего одинца, коему пару не подберешь, можно выручить до пятнадцати рублей! Истинно так, сразу до пятнадцати!

Слышал, конечно, государев указ, в коем каждое слово дышало строгостью.

«Сибирских городов служилые люди ездят и мяжкой рухлядью беспошлинно торгуют. Сибирским тем людям настрого мяжкой рухлядью торговать не велеть. А будет кто торговать, имать их товары на государево имя, а самих за ослушание бить батогами жестоко, бросать в тюрьму».

Слышал, конечно, и все равно думал не о носороком, а о соболе.

Вот соболь. Зверок радостен и красив и нигде не родится опричь Сибири. А красота его придет вместе с первым снегом и опять со снегом уйдет. Наслушавшись Косого, даже Елфимка Спиридонов, попов сын, вспыхивал глазами. Дескать, Преображенский монастырь, тот, что в Тюмени, поставлен не просто так. Старец Нифонт, чистый сердцем, много лет собирал в народе всякую денежку, хоть совсем малую, и поставил тот монастырь на краю острога в ямской слободе. Угодий своих не было, земли не было, на пропитание никакой ежегодной руги не было, да вообще ничего не было – смиренные старцы при монастыре питались тем, что подадут жители. А монастырь по сию стоит, славится. И вот он, Елфимка Спиридонов, человек тихий, богобоязненный и законопослушный, так задумал: взяв на реке богатых соболей, тоже поставит монастырь, светлую обитель. Он, сын попов, точно знает, куда и как определить будущую добычу. Его соболя – божьи. Длиннолицый, редкозубый, борода в инее, поблескивал темными глазами. Уважительно вспоминал родного отца – попа Спиридона. Тот кабальным бежал в смутное время от одного коломенского злого дьяка. Думал, что навсегда, но судьбе виднее. Она

распорядилась вернуть Елфимкиного отца через восемь лет в угодыя все того же коломенского дьяка, только теперь настоящим попом, поставленным в сан рукою митрополита казанского и свияжского. Коломенский дьяк прямо освирепел, опознав в попе бывшего беглеца. Пришлось переводить новопоставленного в Усолъе. Ну, с отцом уехал и малый Елфимка – тихий, грамотный. Много помогал отцу, по его просьбе переписывал церковные бумаги, всякие казенные прошения. Однораз по задумчивости («Братья, не высокоумствуйте!») сделал описку в государевом титуле, за что нещадно был бит кнутом и выслан в острог Якуцкий.

Но Елфимка, ладно. Елфимку богатство не сгубит. В Якуцке к Елфимке быстро приехали, он на улицах подбирал выпивших, чтобы не замерзли. И в походе успел отличиться. На каком-то привале Микуня Мочулин вышел утром из урасы и простодушно помочился рядом с оленными быками. Конечно, быки взбесились, сбили Микуню с ног, изваляли до сердечного колотья. Хорошо, услышал шум сын попов – вышел на крыльцо, спас убогого. Присоветовал на будущее: «Не дразни быков. Очень падки до всего соленого. Делай малое дело в стороне, затопчут».

Шли.

Косой чем дальше от Якуцка, тем больше смелел. Даже открыто выказывал личную приязнь к вожу Христофору Шохину, понимающе переглядывался с Кафтановым, шушукался с Ларькой Трофимовым. Не скрывал, что строит одиначество как бы не со всеми, а только с выбранными. Весь так и горел: какой, дескать, ты передовщик, Свешников? Если б Вторко Катаев не заскорбел ногами, то и сейчас бы он вел отряд. А ты кто, Степан? Да ты совсем никто. Ты чем лучше Кафтанова? Да совсем ничем. Не находишь на государственной службе, никогда бы не встал на место передовщика.

Ничего не боялся. Чувствовал поддержку Шохина и Кафтанова.

Мы вот, дескать, Степан, идем не за носоруким, прозрачно намекал. Зверь-то зверь, только никто не знает, существует ли этот зверь. Мало ли что кости находят. В сендухе много чего находят. Например, грибы растут выше дерева. Сердился: ну до чего пуст край! Зажигался: здешние писанные столько лет не платили государю никакого ясака, что враз весь взятый по закону ясак не вывезешь теперь даже на носоруким! Нам, Степан, загадочно намекал, ясак большой нести.

Свешников в спор не вступал. Пусть говорят. Это лучше, чем если бы помалкивали казаки да тайно копили в себе неприязнь. А все равно на душе смутно-смутно. Перед самым уходом в сендуху забежал в Якуцке к опытному человеку – казаку Семейке Дежнёву, которого знал по прежним походам на Яну. Дом Дежнёва раньше стоял, как многие другие, на Чуковом поле. Но по весне Лена поднималась так высоко, что людям надоело каждый год спасать и сушить вещи, самим спасаться на лодках. В остроге в стороне от реки Семейка срубил новую просторную избу, в которой жил с женой – узкоглазой Абакадай Сичю, крещенной Абакай, с лицом круглым и желтым, как блин. А на голове у нее плат бумажный дешёвый – по белой земле пятна чернью, по краям черные да желтые цветы. Увидев гостя, метнулась ставить самовар.

– Что видел? Что слышал?

Свешников рассказал.

Семейка невесело усмехнулся.

– Вот баба не понимает, – кивнул на жену. – Твёрдит всё одно и то же. Твёрдит, не уходи никуда, а мне надо уйти. Я замыслил найти путь на Погычу. На новую богатую реку. Слышал? А баба, – кивнул в сторону прикрывшейся платом жены, – одно твёрдит. Дескать, так говорят только, что уходят только на год или на два, все равно потом возвращаются через двадцать лет. – Тряхнул чубом. – Не уходи, твёрдит. В Якуцке хорошо, твёрдит. Вот родимцы мясо

принесут, полезную траву, вот еще много чего вкусного принесут, твердит. Ну совсем стала глупая баба! Часто плачет, а я еще и дому не сшел.

– Чувствует, – усмехнулся Свешников. – Да и то, на кого такую оставишь?

– У нее в Якучке родимцев много, – объяснил Дежнёв. – Дядя есть по имени Манякуй.

Не на пустом месте.

– Бабам всегда страшно.

– Бог терпел...

Дежнёв посерьезнел, перешел к делу:

– Хочу отправиться в Нижний собачий острожек. Уже отправился бы, да Мишка Стадухин, любимчик воеводы, мешает. Ест меня поедом. Ведь вместе ходили не в близкие края, чего, казалось бы? А чванлив, горд, куражист. Всех клонит под себя. В Гриню Обросимова из одной только гордости стрелял в кружале из лука в большом подпитии. На енисейского сына боярского Парфёна Ходырева из одного только непримиримого куража крикнул слово и дело. А я Парфёна хорошо знаю, он простой человек. И Мишка знает, что Парфён – простой, все равно приметывается к человеку. Думает, что раз первый сходил на новую реку, раз первый увидел чухчей, которые зубом моржовым протыкают себе губы, так сразу над всеми возвысился!

Сплюнул:

– Мишка всех обгонит!

– И меня? – засмеялся Свешников.

– А ты то что? Тоже куда уходишь?

– Разве не слышал?

– За носоруким?

– За ним.

– Ну, слышал. Только не поверил. Зачем тебе? Говорят, подземный зверь. Говорят, что там, где выйдет из-под земли, там сразу на свету и гибнет. Потому торчат на разных полянках кости.

– Если живет под землей, то где проходы?

– А подмывают талые воды, вот они и рушатся.

– Да ты сам посуди, – заспорил Свешников. – Как такой крупный зверь забьется под землю? Там вечный лед, пешней не возьмешь.

– А у него рога. Он горячий.

– Нет, не может столь крупный зверь жить под землей.

Помолчали, слушая круглолицую Абакай. Она вздохнула и пела, при этом плела какую-то вещь из веревочных обрывков. Видно, что сильно не хотела отпускать от себя Семейку. Выросла под северным сиянием, в снегах. Знала: везде опасно. Но только Семейка все равно знал больше, чем она, потому что успел послужить и на Яне, и на Оймяконе, и на реке Большой собачьей. На последней, рассказал Свешникову, рожи писанные живут по неизвестным речкам. Они кочуют по плоской сендухе, охотно плодятся, охотятся, думают, что так в мире было всегда. Думают, что иначе и быть не может, что сендуха – это и есть весь обитаемый мир, нет нигде никакого другого – только мекающие олешки, да птица короконодо, да дед сендушный босоногий вдруг выступит из снегов. Иногда, правда, еще из снегов выступят русские. Тоже странно. Кто такие? Куда идут? Зачем?

Вот Семейка.

Вот Мишка Стадухин.

Вот Ерастов, Ребров, оба – Иваны.

Давно ли русские стояли на берегу Енисея? Давно ли край державы проходил по Лене? А вот спустились из Жиганска на деревянных кочах бородатые люди енисейского казака Ильи Перфирьева и такие же бородатые люди тобольского казака Ивана Реброва. Достигнув устья Лены, по доброму согласию поплыли в разные стороны. Ребров на западе достиг загадочной



реки Оленек, Перфирьев на востоке – Яны. Потом Мишка Стадухин, сгорая от нетерпения везде оказаться самым первым, добрался до рек Алазеи и Ковымы, сообщил о неведомом прежде народе чюхчах. А потом атаман Дмитрий Копылов заложил на Алдане деревянный Бутальский острожек, а енисейский казак Курбат Иванов ступил на каменистые берега Байкальского озера, учинив тому подробный чертеж. А томский казак Иван Москвитин после многих приключений перевалил обрывистые горные хребты и свалился на туманную Ламу, на берег моря Охотского. После Ермака, считай, всего за полвека, отнесли казаки край державы на самый океан. Года не проходит без новостей. Так и снуют казачьи кочи между Якуцком и Колымским нижним острожком. Недавно, например, явился в Якуцк письменный голова Василий Поярков, рассказал о новой реке Мамур. Та земля, оказывается, угожая, скотом и хлебом изобильна, еще рыбой, пушниной. Люди едят там не на простом дереве, а чаще на серебре. И ходят в тяжелых китайских шелках, делают плотную бумагу, добывают постное масло, которое куда как хорошо идет к огурцу. Там далеко можно ходить в походы и подвести под высокую царскую руку много новых сидячих людей, способных к пахоте, укрепить их в вечном холопстве.

Шли.

Свешников приглядывался.

С Елфимкой, например, бежал рядом.

Вот что знал он, сын попов Елфимка? Ну, книгу «Октоих», в которой много красного цвету да целые строки рисованы красным. Ну, читал в храме часы. Ну, пел на клиросе по крюковым нотам. А храм хоть и посвящен Софии, Премудрости Божией, совсем деревянный, маленький, его даже не расписывали никогда, потому что вдруг как пожар начнется? Иконы из окна можно вытащить, а роспись дорогую?

Правда, главы побиты чешуей, поставлены на бочки, крытые лемехом.

Однажды послали Елфимку в Москву. Рылся он там в Овощных рядах, искал на Печатном дворе старые евангелия, псалтыри, минеи, молитвенники. Труд нелегкий, к тому же без всякого жалованья – без хлебного, без денежного. Томился малый, но все делал неспешно. Такой бы добрался и до бернакельского гуся, только никто такому себя не доверит. Добрый барин Григорий Тимофеевич точно бы не доверил. Вот набожен, а фыркнул бы, не сказал поповскому сыну литовское имя...

Идя рядом, Свешников спросил:

– Почему пошел за носоруком?

– А Вторко позвал. Сын боярский.

– Так сразу? Наверное, обещал что-нибудь?

– Всякое говорил. Говорил, не пустыми вернемся. – Елфимка смутился. – Но ведь не для себя. У меня все – Божье.

– Ну, не знаю, что обещал тебе сын боярский. Я ничего такого особенного не обещаю. Но если найдем носорукого, в накладе не останешься. От такого зверя даже в Москве могут наступить перемены.

– А Христофор говорит, – начал было Елфимка, но оборвал себя, насупился. Впрочем, и без особых слов было видно, что приобщают Елфимку к тайному одиначеству. Выдавил несколько растерянно: – А этот зверь... Он старинный, наверное?.. Божье ль дело – ловить столь старинного зверя? Христофор так и говорит, что не про нас зверь этот. Говорит, чтобы к нему лично плотней держались, тогда всем будет хорошо.

– А так бывает, чтобы сразу всем?

Елфимка строго поднял глаза:

– Должно быть всенепременно.

– Вот говоришь ты, божье ль дело – ловить зверя старинного, – усмехнулся Свешников. – А брать ясак? Это божье дело? Через силу ведь берем с писанных?

– Мы берем законное. Они, рожи писанные, государю уже сколько не платят? А живут вольно на государевой земле. Темные, некрещенные, совсем погрязли в грехах. Мы теперь им глаза откроем. Жалко, что придем ненадолго.

– А вот тут ошибаешься. Куда приходим, там мы навечно.

Шли.

Небо серое.

Мрачные лиственницы.

На крутых подъемах олешки скромно потупляли подрезанные рога, фыркали недовольно. Как-то полдня шли звериной тропой. Но зверь не человек, зверю необязательно ходить прямо – тропа к вечеру вильнула, ушла в распадок. Поставили на чистом месте урасы. Свешников спустился к реке. Продолбил пешней лунку. Поднялась со дна снулая рыба. Сонно стояла в холодной воде, сосала воздух.

– А вот не гляди в воду! Старичок схватит!

– Чюлэниполут? – Свешников легко запоминал чужие слова.

Шохин усмехнулся. Моргнул неправильным веком. Присел рядом на корточках, плюнул, целясь в рыбу, вышедшую подышать.

– Вот сколько лет живу, Стёпка, а понять никак не могу. Идем, идем неизвестно куда, а потом рыба навстречу. Зачем? Мы же ее съедим.

– Всех не съешь.

Помолчали.

– Нет, ты скажи, Стёпка. – Шохина явно что-то мучило. – Вот родился я, рос, ходил на дальние реки, стал вожем, живу. И рыба когда-то родилась, выросла в крупную, живет. Но я и рыба в отдаленности друг от друга. И пусть бы так всегда. Зачем судьба нас сводит?

– На все воля Божья.

– Ну, может, – нехотя согласился Шохин.

Такой мог бы знать литовское имя. Такой много чего мог бы знать. После ночи, когда нашли в снегу чужую стрелу томар, Шохин незаметно, но внимательно приглядывался к Свешникову. Держал что-то свое в уме.

Шли.

Зимний путь сушит.

На ходу воды не найдешь, все вокруг выморожено, превращено в камень, а если встретишь выжатую на лед воду – такую ледяную все равно нельзя пить. Терпели, как могли, до ночлега. Зато в урасе неторопливо тянули кипяток, настоящий на ягоде, чаще на шиповнике.

Сил нет, как устали, но разговор.

Вож, например, сдержанно хвалил Ганьку Питухина: сильный человек, ловко идет, любой груз по плечу. Незаметно сам бахвалился: вот он, Христофор, тоже сильный, а раньше еще был сильнее. Он и сейчас в силе, но был сильнее. Его, вожа Христофора Шохина, всякая сендушная самоядь прямо называла – сильный. По-ихнему – тонбэя шоромох. Было, рассказал у огня, взяли у самояди женку в ясырь. Ну, олешков там, всякую мяхкую рухлядь, мало чего оставили дикующим. Один почему-то сильно обиделся на Шохина, старательно обшил кафтан костяными пластинками, покачал над дымом легкие кости шамана: «Вы, кости шамана, что скажете?» Кости сказали: «Убей англу. Убей у рта мохнатого. Убей тонбэя шоромоха». Пришел вызывать, а Шохин говорит: «Ты это, жилы не рви. Куда торопиться? Жизнь долгая.

Садись у очага, отдохни. Выпей огненной воды, съешь вкусного. Потом будем драться». Так и сказал: садись, пей, потом будем драться. Огненная вода прибавляет сил, веселит сердце. Коли выпьешь сразу полную кружку – сильно изменишься к лучшему: сил не было – сильным станешь, трусом был – пойдешь с голыми руками на сендушного деда.

– А дикующий? – угодливо заглядывал сбоку Косой.

– А дикующий что? – моргал красным веком вож. – Конечно, выпил полную кружку. Ему тепло стало, хорошо. Он лег у костра довольный. На другой день драться не стал. Белок принес, песцов принес, сестру привел. Сказал: давай огненную воду. Сказал: еще хочу огненной воды. Дружить будем, другую сестру приведу.

Елфимка насупился:

– Грех!

И Гришка Лоскут почему-то обиделся:

– Тонбэя, говоришь? Шоромох?

И оскалился обидно.

Одно время Свешников бежал рядом с Гришкой, Лоскут жаловался:

– Тебе, Степан, что? У тебя все гладко. Ты, может, вернешься, в почете будешь. А мне?

– А ты не хватай воеводу за груди.

– Я один, что ли? Меня записали к Ивану Ерастову – на новую реку Погычу, а Ивана не пустили на реку. Отдал воевода Василий Никитич наказную грамоту не Ивану, как должно было быть, а любимчику своему – Мишке Стадухину. А нас, простых казаков, совсем прижал – жалованья не выдавал по году, да треть выворачивал на себя. Куда такое терпеть? Пятидесятник Шаламко Иванов, десятники Васька Бугор, Симанко Головачев, Евсейка Павлов – все сразу одинаково подступили к воеводе. А я воопче горяч. Ну и Васька Бугор.

Свешников усмехнулся:

– Не шлись на Бугра, живи своим умом. Я Ваську знаю. Он точно во всем неистовый. Только у него все равно своя голова есть. Он после бунта силой взял чужие суда и увел людей в Нижний острожек. А ты?

– А меня бес попутал, – насупился Лоскут. – Есть в Якуцке торговый человечешко Лучка Подзоров. Держит лавку, дает под проценты в долг. Родственник богатых торговых гостей Гусельниковых. От него вызнал, что брат мой Пашка по слепоте своей тайно шшел в сендуху с вором Сенькой Песком. Ушли в сендуху, и как их не было. А мне брата жалко. Да и кабалы братовы на меня перелегли. Ну, явился к Лучке, стал требовать правду. Для уверенности выпил крепкого винца. Лучку побил, опять же, для уверенности. Ну, он сказал. Прибейся, он сказал, к отряду сына боярского Вторко Катаева, они в точь идут в те места, где пропал Пашка.

– Так и сказал? – насторожился Свешников.

– Вот свят! – перекрестился Лоскут. – У Лучки нет корысти загонять меня на тот свет. Он в обиде на меня, но все равно выгоднее, чтобы я вернулся. Коли вернусь с мягкой рухлядью, понятно, расплачусь за брата. А коли сгину, какой с того толк?

– Поймаем носорукого – расплатишься.

– Ну, носорукий, – неопределенно протянул Гришка. – Кто знает о таком звере? Я воопче на новую реку хотел уйти.

Пожаловался:

– В Якуцке тесно.

– Здесь не Якуцк.

– А мне и здесь тесно.

– От кого бежишь?

– Не знаю.

– Ну, хорошо. Ну, дойдешь до края земли, что дальше?

– А я и дальше пойду.

– В океан упрешься.

– Коч построю.

– Да куда?

– Не знаю.

Подумал:

– А разве за океаном ничего нет?

– А об этом я не знаю, – вздохнул Сवेशников.

И предупредил Гришку, шаркая лыжами по снегу:

– Ты о звере думай, а не о выгоде. Тебе сейчас правильнее – служить. Крикнуто на тебя в Якучке государево слово, так что тебе удача нужна. Вот считай, что носорукий – твоя удача. Вернемся без зверя, припомнят тебе все грехи мыслимые и немыслимые. А приведем зверя, слово даю – отстою тебя. У кого угодно отстою, даже у воеводы Пушкина.

Лоскут не ответил.

Надвинул на лоб меховой капор, пригнулся, упрямо попер на ветер.

Шли.

Ох, носорукий.

Ох, старинный зверь.

О таком часто говорят в питейных избах.

В питейных, известно, чем больше пьют, тем явственней слухи.

На первой чарке еще терпимо. Ну, вроде велик упомянутый зверь. Ну, вроде тяжел, сала на нем в три пальца, потому не мерзнет на лютом холоду. А живет прямо в сендухе, считай, со времен потопа. Другие разные звери утонули, а носорукий, может, выплыл на какую ледяную гору. Отдышался, дождался спада воды, теперь мирно спустился в плоскую сендуху. Ходит по ягелю, оставляет тяжелый след-вмятину. На носу рука, хватает ею разные вещи.

На второй чарке рассказчик смелеет.

Правда, тут же выясняется, что сам он никогда не видел носорукого зверя, но голос слышал. Громкий, как труба. Или как большой охотничий рог. Такой голос услышишь, уже ни с каким другим не спутаешь. Ну а если рассказчик сам по какой-то причине не слышал носорукого, то непременно знает одного или двух людей, испытавших такое. Скажем, на Мишку Глухого шлется. Мишка стал глухим как раз после встречи с носоруким. Где-то на реке Алазее. Или на Яне. Точнее и сам Мишка не помнит, потому как дикующие его недавно зарезали.

Но по-настоящему раскрепощает третья чарка.

Рассказчика пробивает пот, он становится доверителен, наклоняется к самому твоему уху. Он уже не говорит, а шепчет совсем тайное: вот никому, дескать, слова не обронил, только тебе по дружбе! И говорит. Всю правду как на духу.

Вот, дескать, сам виноват. Вот совесть его мучает.

Так случилось, говорит, что встретил в сендухе старинного зверя.

Никому раньше не говорил, а тебе теперь скажу тайное: удачным выстрелом из колесцовой пищали завалил зверя. Ударил пуля прямо в лоб. Наверное, и посейчас лежит невинный зверь в ледяной сендухе, замерз на ветру, хоть сегодня забирай.

«Неужто лежит?»

«Обязательно!»

«Неужто убит выстрелом из пищали?»

«Из нее. Из простой колесцовой. Взята с казенки».

«Возможно ль такое? Велик ведь старинный зверь!»

«Ну, что с того, что велик? Попал под пулю. А до того по собственной дурости ввалился в глубокую ледовую трещину, я ж его не прямо перед собой встретил. Еду, дремлю, вдруг

собачки расстроились. Раскрыл глаза, а над ледовой трещиной стоит живая рука. Завилась крендельком, а скорее, как раковина. Я пицаль приготовил, курок взвел, прислушался, а зверь в трещине плачет. Выбраться не может. Вот я и пожалел, шаркнул в голову зверя».

«И сейчас лежит?»

«Обязательно. Если снегом не занесло».

«А где именно лежит? Как такое место найти?»

Вот тут и начинается главное. Показывается путь, идут уточнения.

В общем, идти надо на полночь. Это всякому понятно. Вниз по Лене, начиная от щек. Или идти по Большой собачьей, еще лучше. Носорокий любит такие холодные места. У него жиру на три пальца и рыжая шерсть длинная и густая. Такая длинная, что сам в ней путается. Идет и путается в собственной шерсти. Бывает, так запутается, что упадет. А мясом носорокого можно запросто кормить живых собак. А вот чтобы человек ел, этого не знаем.

Наслушавшись в питейной, Свешников заглянул к Стадухину.

Чванлив, высокомерен, не в меру горяч, без повода обидеть может Мишка Стадухин, а видел многое, не раз отличался в морских плаваниях и в пеших походах. Ходил на Лену с сыном боярским Парфёном Ходыревым. Участвовал в стычках с незамирными якутами. С Постником Ивановым воевал с тунгусами, обжившими реку Виллой. Лично взял в плен одного знатного князца из рода калтакулов. Ясаку привез три сорока соболей. А еще было, с отрядом из четырнадцати человек спускался на студёный Оймьякон. А с того Оймьякона плывал по Большой собачьей. Вот там-то и услышал от дикующих смутное: вроде есть на восток другая новая река – Ковыма, а за ней неизвестный народ чюхчи. Построил надежный коч, спустился по Большой собачьей к морю, держась ледяного неприятного берега, дошел до означенной реки. Гордый человек тот Мишка Стадухин. Принял Свешникова свысока. На интерес к реке Большой собачьей ответил явственным подозрением:

«На што тебе такое?»

«Иду по государеву наказу».

«Небось, ясак взымать?»

«Прежде ловить зверя».

«Какого такого зверя?»

«Старинного. С рукой на носу».

«Ну? – удивился Стадухин. – Я, в обчем-то, про него слышал. Но зачем его ловить? Проку-то?»

«Насчет проку государю виднее».

«Тогда иди».

Вот и весь разговор.

Сразу видно, что не посвящен человек.

Но все равно смотрел Стадухин так, будто догадывался и про бернакельского гуся, и про слова московского дьяка. А что? С Мишки станется. Он и литовским именем может назваться.

Думая так, Свешников уходил от мыслей о прошлом.

Но ведь – безлюдье, тишь. Сумеречно под низким небом. Идешь, молчишь, прислушиваешься к редким звукам. Хочешь не хочешь, а поневоле задумаешься.

Когда Стёпке Свешникову десяти не было, шайка варнаков (после Смутного времени в лесах много кого скопилось) напрочь сожгла деревеньку Онуфрино, повыбив жителей. Маленький Стёпка отсидел два дня и три ночи в дымном подполе, потом вылез из мрачного пепелища и побежал к соседям в деревню Бадаевку. Лютый обширный помещик Бадаев в голодное время специально приманивал голодных беглых и потихоньку крепил за собой. Тем быстро возрос в хозяйстве. Стёпке тоже обрадовался. Расспросив, определил в дом.

В доме богато. На окнах ситцы.

Трепещет в пыльном облаке моль, а все равно богато, богато.

На рослом Бадаеве азиатский кафтан – азым. Простой, но такие и воеводы носят. И еще азым лазоревый на бумаге. Любил Бадаев всяко блеснуть. И еще азым кумашный, и лисий красный. Этот совсем как у воеводы. Сам говорил, что купил такой богатый в Москве у торгового бузхаретина. Привезли издалека. Аж из самой Бухары, где небо, говорят, как глазурь. А Стёпке выделил рубаху да изгребные пачесные штаны. Понятно, плохие, для малых работников.

Бадаев сед, лют. Держал конный завод, большую псарню.

Также вел подробные записи в хозяйственных книгах, крепко держался за самую маленькую копейку. Была даже какая-то тайна в том, как лютый Бадаев неторопливо окунает гусиное остро очиненное перо в чернила, а потом аккуратно рисует на бумаге загадочные значки. Правда, Стёпка уже знал: эти значки есть буквы, литеры. Даже знал о том, что если запомнить каждую литеру, то можно самому читать книги. Оставаясь один, не раз брал в руки одну особенно толстую, часто лежавшую на столе. В той книге не было никаких картинок, оттого любопытство еще сильнее мучило Стёпку. Листал толстую книгу степенно, с умным видом. Вот думал, как много всякого может быть написано в толстой, в столь важной книге!

Однажды Бадаев застал Стёпку над книгой.

Изумился: каков щенок! Отослал на конюшню. Выпороли.

Конечно, Стёпка стал осторожнее, но любопытство перебороло: еще дважды попадался на открытой книге. В изумлении Бадаев сам приходил на конюшню, посмотреть: хорошо ли, не мало ли бьют грамотея.

Отлеживаться Стёпку бросали на псарню. Подходили собаки, обнюхивали мальчишку, дышали на него теплым воздухом. Добрей всех казалась зрелая сука Тёшка – влажным языком вылизывала кровоточащую спину.

Терпеть всё это было невыносимо, потому в двенадцать лет начал бегать.

В те времена все бегали. Не только крепостные, но и прикащики. Лютый Бадаев, немало веселя соседей, устраивал большие облавы на беглых, прочесывал с собаками прилегающие леса. Имел на том большую пользу, потому что знал: холопий приказ в Москве сверх меры завален господскими явками. Если не заявил вовремя, что кто-то у тебя сбёг, за преступление сбёгшего ответственность на тебя ложилась. Так хоть в свое удовольствие людишек каких наловить.

Неоднократного беглеца засекали до бессознания.

От порки Стёпка стал потихоньку портиться, заикаться. Местная бабка-татарка, дай ей Бог здоровья, ладила его, но сколько можно? В последний раз бежал в двадцать втором, при государе Михаиле Фёдоровиче. Уходя, ярко зажег за собой весь бадаевский двор. Решил: умру, но никогда больше не вернусь в Бадаевку. Одного только боялся, как бы не пострадала в огне добрая сука Тёшка.

Москва! Добрался до самой Москвы.

Многие дома каменные, непривычно большие.

Вкусно пахнет древесным дымом, над улицами желтая пыль. В Китае за Гостиным двором торговая казнь – кнутом выбивают деньги из должников. Стёпка сперва по своей неопытности дивился: бьют должников, а деньги из них никак не выпадают. Тогда зачем это? Тут же в мелкой сухой пыли, как ободранная курица, купался юродивый, громко хлопал руками-крыльями, страшно морщил низкий скошенный лоб, бормотал невнятное, пускал жидкую слюну. Стёпка, конечно, боялся, зато крепко помнил теперь со слов всяких беглых, с которыми пришлось общаться в эти годы: *урочные лета*. Вот что надо держать в голове. *Урочные лета*. Дескать, не будешь пойман хозяином пять лет, станешь свободным! Таков милостивый государев указ.

Вот и жил, считая года. Кому поможет поднести вещи, а где попросит милостыню.

Однажды за небольшие деньги поднес нетяжелый бумажный сверток непонятному толстому барину. Барин правой здоровой рукой махал, на его левой руке не хватало трех пальцев. Шел пешком, зачем-то отпустил экипаж. Весь такой непонятный и толстый. Борода окладистая, сильно на старинный манер. Нос багров и крючком, упрямые глаза навывкате – пьяные.

Дошли до Сретенки.

Перед обширным домом боярин усмехнулся:

– Я считал, не дойдем.

– Как так?

– Думал, сбежишь.

– Да зачем бежать?

– Как звать? – вместо ответа спросил барин.

Стёпка испугался, отступил на шаг. Прикидывал, сразу от барина бежать или подождать второго вопроса.

– Беглый?

Стёпка отступил еще на шаг.

– Ну, вижу, вижу, что прислониться тебе не к кому. Ты стой, не томись, чего дуешься? – Даже засмеялся. – Ну ровно гусь бернакельский!

Вот когда впервые услышал про этого гуся! Но тогда обидно стало. Почему гусь? Вот странный барин: и никакую денежку не дал, и дразнится.

– Служить хочешь?

Стёпка окончательно растерялся.

То, значит, гусь какой-то, а то сразу – служить!

Но взял и поверил барину. И не пожалел. В просторном доме у доброго барина Григория Тимофеича аккуратно чистил комнаты, подметал деревянные лестницы, снимал пыль со стен. Раз в месяц влажной тряпичкой протирал тяжелые, переплетенные в кожу книги – плотно друг к другу стояли на специальной полке. Дивился страшно: книги не божественные и не хозяйственные. То есть совсем не такие книги, как у лютого помещика Бадаева. И это казалось – хорошо.

Но сам Григорий Тимофеич жил неправильно.

Всегда важный, ни с кем не водил дружбу. Сидел дома, листал книги, тянул белое винцо. Иногда сладкая баба приходила, в юбке как в бочке. А всю Страстную пил без просыпу, например, не дался цырульнику поправить обмахратившуюся бороду. А утром в Светлое воскресенье напился еще ужасней. На самом рассвете был пьян, когда люди еще не успели разговеться. Шумел при этом, неистово хулил боярина Милославского. Вот ты, дескать, шумел в сторону боярина Милославского, хоть посажен государем надо мной, над Григорием Тимофеичем Львовым, хоть сидишь в ряду в горлатой шапке, а все равно по сравнению со мной – худороден, истинная собака! Моя ветвь пусть захулавшая, из самой глубины, а ты, Милославский, совсем незначительного происхождения! Считаю, выведен в люди всего лишь думным дьяком Иваном Грамотиным, а то бы так и сидел в своих деревеньках. Кричал шумно: лучше пить всю Страстную, чем говеть с таким, как Милославский!

Барин ругается, а Стёпка думает: а сами-то пьете!

Правда, хватало ума вслух такого не говорить, только страшал Григория Тимофеича: «Вот смотрите! Вас в монастырь сошлют!» Слышал, конечно, про боярина Милославского Илью Даниловича, что это очень непростой человек. Шептались, что растит красивых и скромных дочек, дружит с боярином Морозовым. А боярин Морозов, это все знали, он собинный друг царя. Одно плохо: и тот и другой широко пользуются советами иностранца Виниуса, вообще льнут ко всему иностранному.

О Морозове, правда, добрый барин Григорий Тимофеич отзывался более или менее терпимо: все же вроде растил с дьяком Назаром Чистым царя. Но Милославский-то! Добрый

барин так поворачивал, что всякие иностранцы через того Илью Даниловича плохо влияют на царя. Слушая такое, Стёпка сильно ужасался: «Ой, сошлют вас в монастырь!» А Григорий Тимофеич в ответ сердился: «Молчи, дурак! Видел, в Сергиевской улице в доме напротив церкви молодого мальчика продают пятнадцати лет, а с ним бекешу, крытую голубым гарнитуром с особенными отворотами. Вот тебя продам, куплю мальчика с бекешей, крытой голубым гарнитуром!»

Страсть как не любил всего иностранного.

«От всего иностранного русский человек болеет, – говорил назидательно. – От всего иностранного нам нужны только китайки, зендем, язи и кумачи. Ну, может, еще камки. А духу чтоб никакого. Я, – поднимал руку без трех пальцев, – в свое время послан был в заграницы. Но дышать немецким воздухом так не захотел, что даже пальцы себе отрубил, чтобы не ехать. У нас не как у иностранцев. У нас солнце взойдет, смотришь – квас, мухи, хорошо! А от иностранцев – употребление табаку, богомерзкой травы, за которую при царе Михаиле правильно резали носы».

Оборвет себя. Поглядит красными похмельными глазами: «Кругом одни шиши да шпионы. Грамоту учи, дуралей!»

А в книжке картинка: стол длинный со многими учениками.

А во главе учитель, неприятно похож на поумневшего лютого помещика Бадаева – скулы острые, седые нехорошие бакенбарды выются; а на коленях перед ним малых лет ученик – урок отвечает. Еще один пишет, третий, озлясь, таскает соседа за космы. Тут же на лавке секут розгами четвертого.

«Аз... – водил пальцем. – Буки... Веди...»

Самому себе дивясь, самостоятельно разбирал подписи под картинками.

Ленивые за праздность биятся,  
грехов творити всегда да блюдутся.

Что ж, подумал, раз секут провинившегося, значит поделом. Но и жалел того провинившегося: вот зачем так люто за простую лень так сечь?

В другой книге по слогам прочел молитву Христу Богу.

Иже во христианех многу неволю от царей и от приятелей неразумных злобы приемлют многи, еще же и от еретик и чревоугодных человек; таков есть глагол прискорбных...

Ничего не понял, но будто холодком дохнуло, оледенило сердце.

Полки обнищавшие, Иисусе, вопиют к тебе,  
речение сие милостивое прими, владыка, в слух себе.

Еже на нас вооружаются коварством всего света,  
всегда избави нас от их злого совета.

Оне убо имеют в себе сатанину гордость,  
Да отсекут нашу к тебе душевную бодрость.

И твой праведный закон по своей воле изображают,  
Злочестивых к совести своей приражают.

Лестными и злыми бедами погубляют нас, яко супостаты,  
а не защитят от твоего гнева их полаты...



Аккуратно смахивал пыль с книг. «А вот не защитят от твоего гнева их полаты!»

Многие книги у доброго барина Григория Тимофеевича действительно оказались не божественные. Одну, например, Стёпка перелистывал особенно часто. В ней изображалось всякое мирское зверье: нелепый верблюд с двумя горбами, толстая морская свинья, гладкие морские звери – единороги и даже старинная птица именем строфокамил – страус.

Ох, дивен, дивен, Боже, мир твой!

Зачарованно по складам читал некие волшебные слова, напечатанные в конце полюбившейся ему книги: «Клятвенно подтверждаю правдивость сведений указанного ученого Геральдуса».

«Читай вслух», – требовал Григорий Тимофеевич и подсовывал Стёпку книгу – «Оглашение!» Привез ее в Москву Лаврентий Зизаний Тустановский – ученый человек. Так и назвал книгу «Оглашение», но патриарх Филарет исправил название на «Беседословие». Якобы (со слов доброго барина Григория Тимофеевича) потому переименовал, что «Оглашение», такая книга известна у Кирилла Иерусалимского, а под одним именем многим книгам быть нелепо.

Григорий Тимофеевич вздыхал. Нравилось ему, что мудрость в книге своя, не иностранцами завезенная. И разговор в книге происходил на простом казенном дворе между простым русским князем Иваном Борисовичем Черкасским и думным дьяком Феёдором Лихачевым. Не между каким-нибудь там Виниусом и другим немцем. Совсем нет, даже наоборот. Некие Илья и Гришка кричали в означенной книге на названного выше Зизания.

«У тебя в книге, – кричали, – написано о кругах небесных, о планетах, зодиах, о затмении солнца, о громах и молнии, о тресновении, шибании и Перуне, о кометах и о прочих звездах, но эти статьи взяты из книги «Астрологии», а эта книга «Астрология» взята от волхвов еллинических и от идолослужителей, а потому к нашему православию не сходна. Почему из книги «Астрологии» ложные речи и имена звездам выбирал, а иные речи от своего умышления прилагал и неправильно объявлял?»

Зизаний оправдывался: «Что же я неправильно объявлял? Какие ложные речи и имена звездам выбирал?»

Илья и Гришка: «А разве это правда, говоришь: облака, надувшись, сходятся и ударяются. И оттого бывает гром. И звезды ты всяко называешь животными зверями, что на тверди небесной!»

Зизаний: «Да как же еще писать о звездах?»

Илья и Гришка: «А мы пишем и веруем, как Моисей написал: вот сотворил два светила великие и звезды и поставил их Бог на тверди небесной светить по земле и владеть днем и ночью, а животными зверьми Моисей их не называл».

Зизаний: «Да как же светила движутся и обращаются?»

Илья и Гришка: «Исключительно по повелению Божию. Ангелы служат, всякую тварь вода».

Зизаний: «Волен Бог да Государь святейший кир Филарет патриарх, я ему о том и бить челом приехал, чтобы мне недоумение мое исправил. Я и сам знаю, что в книге моей много не дельного написано».

Илья и Гришка: «Вот прилагаешь новый ввод в Никифоровы правила, чего в них никогда не бывало. Нам кажется, что этот ввод у тебя от латинского обычая; сказываешь, что простому человеку или иному можно младенца или какого человека крестить».

Зизаний: «Да это есть в Никифоровых правилах».

Илья и Гришка: «У нас в греческих правилах ничего такого нет. Разве у вас вновь введено, а мы таких новых вводов не принимаем».

Зизаний: «Да где же у вас взялись греческие правила?»

Илья и Гришка: «Киприан митрополит, когда пришел из Константинограда на русскую митрополию, то привез с собой правильные книги христианского закона, греческого языка,

правила и перевел на славянский язык. Божиею милостью до сих пор они пребывают безо всяких прикладов новых, да и многие книги греческого языка есть у нас старых переводов, а которые к нам теперь выходят печатные книги греческого языка, то мы их принимаем и любим, если они сойдутся со старыми переводами, а если в них есть какие-нибудь новизны, то мы их не принимаем, хотя они и греческим языком тиснуты, потому что греки теперь живут в великих теснотах, в неверных странах, и печатать им по своему обычаю невозможно».

Зизаний: «И мы новых переводов греческого языка книг не принимаем. Я думал, что в Никифоровых правилах в самом деле написано, а теперь слышу, что у вас этого нет, так и я не принимаю. Простите меня, бога ради. Я для того и приехал, чтоб мне от вас лучшую науку принять».

Григорий Тимофеевич слушал, кивал. Нравилось ему очень, что вот едут на Русь учиться не дурну всякому. Тяжелое кресло под его тяжелым телом прогибалось чуть не до пола. Волосы спутаны, борода не расчесана – пьян. Прерывая Стёпкино чтение, начинал жаловаться. Вот-де до сих пор не закончил давнюю, тянущуюся с каких пор распрю с боярином Ильей Данилычем Милославским, а уже ударил челом на другого своего обидчика – на боярина Салтыкова. Проник глупый Салтыков в ряды старой московской знати, а где его поколенная таблица? Где послужные разрядные росписи? Налетели голяки на царскую доброту. Ругался: «Как гуси бернакельские!»

Про таких гусей Стёпка узнал из толстой книги ученого человека Геральдуса. Того самого, чья правдивость подтверждалась специальными клятвами. Оказывается, есть на белом свете гуси, которые сами по себе вырастают на обломках сосны, если бросить эти обломки в морские волны. Сначала нарождающиеся на свет гуси имеют вид простых капелек смолы, затем определяются формой, прикрепляются клювами к плывущему дереву, постепенно обрастая ради безопасности твердой скорлупой. Окруженные такой твердой скорлупой, гуси бернакельские в самом темном волнующемся море чувствуют себя беззаботно. Без роду, без племени, а живут. «Я сам видел, – монотонно читал Стёпка, поглядывая на доброго пьяного барина, – как более тысячи таких бернакельских гусей, и еще заключенных в скорлупу, и уже вполне развитых, прямо как птицы сидели на обломках принесенного волной соснового дерева...»

Григорий Тимофеич согласно кивал: «Все так... Все так... Гуси бернакельские...» А сам тянул крепкое винцо из большой кубышки, и Стёпка по-настоящему сердился: «Ужо отправят вас в монастырь!» Иногда ему казалось, что добрый барин ругается с московскими боярами вообще просто так, от нечего делать. Может, от большой русской тоски, растворенной в скучном московском воздухе. Но за это еще сильнее жалел барина. Вот зачем мучается хороший человек? Ну, пусть нет семьи, ну, пусть нечем занять руки и душу, так молился бы за других добрых людей.

Однажды Григорий Тимофеич приказал: «Пойдешь в Китай-город».

Назвал нужный дом, вручил сверток. В тот день вид барина показался Стёпку неважным – лицо бледное, борода всклоченная, руки трясутся. Перед этим все говорил о больших планах, о том, что возвысится, о том, что сядет выше Милославского, иначе не может быть. От всего этого Стёпку захотелось сбегать по делу быстрее, чтобы потом посидеть при барине. Будет так сильно пить, подумал, охватит его горячка, даже в монастырь не успеют сослать, сам помрет.

И побежал.

На кривых улицах пылили телеги.

На просторном Пожаре зеленели кафтаны стрельцов, топорщились синие шапки копейщиков со щитками, опущенными на затылки. При Гостином дворе громко зазывали: «А вот хорошие грузди! А вот они, грузди, где!» Во многих лавках висели лисицы белые и черно-черевые, сукно брюкиш, всякая дешевая бархатень, дорогой турецкий алтабас. И один к другому тянулись ряды хмельников, москательщиков, веретенщиков.

Загляделся прямо. «Хорошо служу доброму барину Григорию Тимофеичу».

Даже дрожь по телу прошла. «Век буду служить. Если даже отошлют Григория Тимофеича куда в Сибирь или в монастырь за беспрестанное пьянство, так и туда за ним пойду подавать барину чашу».

Почувствовал на плече руку.

Возмущенно повернул голову.

И сразу отняло руки и ноги – Бадаев!

Рожа обветренная, дикие бакенбарды в кудлатой седине, как в желтой соли, взгляд по-прежнему лют. Довольно прижал Стёпку к стене обширным животом и дважды дал кулаком по лицу, по носу, чтобы кровь выступила обильно.

– Пошто бьешь? – высунулся какой-то лавочник.

– Такое желание имею, – умно, не оборачиваясь, объяснил лютый помещик. – Сей мальчишка от меня беглый.

– Тогда бей. Только не марай стены.

Сразу собрались зеваки. Кто-то засомневался:

– Да точно ли беглый? Эй! Уж очень охотно бьешь.

Бадаев хохотнул, распушил рукой седые бакенбарды:

– А ну, собачек сюда!

Какой-то человек бросился в переулочек, где стояли телеги помещика, и правда привел свору собак. Больше всех прыгала на привычно окровавленного Стёпку старая добрая сука Тёшка. Узнала мальчишку. Радовалась, что опять залижет мальчишке раны. В ужасном отчаянии Стёпка двумя руками отталкивал от себя добрую суку, но оттолкнуть не смог. А Бадаев радостно объяснил зевакам:

– Всякий раз, как еду в Москву, беру с собой собачек. Мои собачки хорошо помнят каждого моего крепостного человечка. Поротые люди всегда отлеживаются на псарне, там хорошо. А всем известно, что собачки жалеют обиженного человечка. Вот сука Тёшка, к примеру, сами видите, жалеет мальчишка.

Зеваки смеялись.

Бросили Стёпку в телегу.

В какой-то темной деревеньке, спрятавшейся в лесу, прикащик Бадаева плешивый пожилой дядька Зиновий, распрягая лошадей, умудрился шепнуть: «Я, Стёпка, на ночь плохо сарай запру. А ты убегай. Как хочешь, так и убегай. У хозяина давно помутнение ума, запрет насмерть».

Бежал.

Закаменел сердцем.

Раньше любил собак, теперь возненавидел.

В Москве явиться к доброму барину Григорию Тимофеичу не посмел.

Стал жить сам по себе. Ну, воровал, конечно. Потом по случайной смуте взят был охочими стрельцами, правда, без рваньи ноздрей, и выслан в Сибирь, в Енисейск. Там поверстался в казаки.

Ах, Сибирь, Сибирь!

Чем дальше уходил от Москвы, тем больше каменел сердцем.

А как еще? Совсем безроден, всеми оставлен. Проклят всеми, даже, наверное, добрым бариним Григорием Тимофеичем. Думает барин, наверное, что сбежал от него Стёпка. Украл сверток и живет преуспевая. Вот почему дрогнул, услышав от московского дьяка: «Готов служить боярину Григорию Тимофеичу?» Так понял, что возвысился добрый барин и хочет еще выше возвыситься. Вот аптекарский приказ уже под ним, а потом, смотришь, отойдет и пушкарский. Просматривая списки новоприбылых, увидел, наверное, Григорий Тимофеич Стёпкино имя, угадал послушного мальчишку в якутском казаке. Через московского дьяка передал

про человека с нехорошим именем. Но кто? Где объявится такой человек? Не Шохин ли? И почему искомый зверь может произвести в Москве всякие перемены?

Идешь, снег похрустывает. В морозном воздухе дыхание – как мысли. Смутно тешил себя: вот боярин Морозов, собиный друг царя, представит носороку царю, а Тишайший, государь Алексей Михайлович, восхищенно спросит: «Кто привел столь старинного зверя?» Ответят государю: «Стёпка Свешников, человек служивый». Спросит государь: «Ну? Просит чего? Есть у него мечта?» Вот тогда он, Степан Свешников, и выступит, и напомним царю про доброго барина Григория Тимофеича. Если правда жив старик, если не замучили его в дальнем монастыре, если дело не так обстоит, как говорил московский дьяк, выпросит у государя отдать ему барина.

Шли.

На черной ондуше, низко торчавшей над убитым, покрытом застругами снегом, стрекотала сорока.

– Вот подлая птица.

– Чего? – не понял Свешников.

– Птица короконодо, говорю, подлая, – глухо пробормотал Шохин, подморгнув ужасным вывернутым веком. – Как увидит, так трепетать начинает.

– Думаешь, увидела кого?

– А пойдя взгляни.

Свешников обернулся.

Было видно, что вож сам ни за что не пойдет в сторону одинокой ондуши, на которой шумела, стрекотала вспугнутая чем-то птица короконодо. Пусть писанные и звали вожа Шохина тонбэя шоромох, видно, что даже такой смелый не пойдет в сторону птицы без особого дела.

Пропустив аргиш, Свешников без труда добежал до траурного дерева.

Вблизи оно оказалось раскоряченным, страшным, будто коптили его в густом дыму. И несло от дерева большим неуютом. Как весь этот край, казалась ондуша очень старинным создание, как бы закутанным в смутные сумерки, скопившиеся в ее ветвях. А за снежные бугры уходила полузанесенная, но явственная цепочка следов. Сразу подумал: это учуг прошел – верховой бык. Тяжело прошел. Наверное, с человеком на спине.

Вспомнил испуг Шохина.

Вот оказывается, не напрасный испуг.

Вот дрался вож с незамирными племенами, пускал в ход сабельку и пицаль, подводил дикующих под шерть, сплавлялся по бурным рекам, боролся с дедом сендушным босоногим и еще много страшного видел, а почему-то вдруг ужаснулся, увидев в снегу простую стрелу томар.

Так Свешников постоял, прислонясь к ондуше, потом догнал усталый аргиш, но никому, даже вожу, не сказал об увиденном. Пытался сам все понять. Вот, вспоминал, поначалу видели невысокий пенек от дерева, ссеченного железом. Потом видели чужую стрелу. Потом берестяной чертежник с непонятными крестиками. А теперь еще и след учуга. Нисколько не удивился, услышав вечером от Шохина: «Ставь в караул самых надежных».

«Кого боишься?» – спросил.

«Дикующих».

Ночь. Сны прельстительные.

– Степан! Степан! Да ну же, очнись!

Кто кричит? Зачем? В сладком сне видел величественного зверя, у которого рука на носу. «Степан! Ну же!» В сладком сне вел величественного зверя в Россию. Люди встречные, добрые

христиане, дивились, бросали носороку калачи. Зверь калачи ловко ловил гибкой рукой, тем питались.

– Степан!

– Чего? – пробудился.

– Вставай же быстрее! Писаные!

Ловя рукой сабельку, вывалился из урасы:

– Где?

– Там! – в испуге тянул за рукав Микуня.

Дышал, как собака, в ухо: «Не брось меня!»

А снег красный, зеленоватый, изжелта. Потом снова красный, желтые тени.

Казалось, весь мир пылает, бросая зловещие цветные тени на пустую сендуху. Действительно, юагиры зажгли костры. Широко зажгли. Не ошибся Христофор: совсем не пуста сендуха, ох, не пуста. Так только кажется. Все небо пылало в стороне полночи. Там кто-то сдвигал и снова распахивал цветные занавеси. Там весь мир пылал. Опустив морды, без удивления стояли только олешки, они такое много раз видели, да еще собаки спали, сбившись в теплый клубок. Не чувствовали смерти.

Возле второй урасы тесно стояли Ганька Питухин, Гришка Лоскут и Федька Кафтанов. Все при оружии, ко всему готовые. Оттолкнув казаков, Свешников резко вздернул шапонач, ровдужную дверную закрышку, и увидел крошечную, но дающую некий смутный свет лампадку, стоявшую на полу.

У прогоревшего костерка навзничь лежал Шохин.

Лежал не у входа в урасу, как раньше любил спать, а в самой глубине, где ложился в последние ночи. Почти по плечи прикрыт теплым заячьим одеялом. Вроде спит, открыто только лицо. Но лицо есть образ божий. А у вожа Христофора Шохина лица не было. Только кровавый, запекшийся на холоде мертвый круг, неаккуратно и густо исполосованный острым железом.

Стремительно обернулся: «Кто?»

Казаки тесно молча стояли перед урасой.

Никто не спешил ответить, даже Микуня. Только Елфимка, сын попов, строго положил крест: «Не знаем». И указал в танцующую тьму:

– Там след вроде.

– Оленный?

– Ага.

– Учуг проходил?

– Ну, может. Мы не слышали.

Спросил, снова перекрестившись:

– Что, Степан? Это тут смерть ходит?

Теперь уже Свешников перекрестился. Подумал: «Опять верховой бык. Не зря боялся чего-то Шохин. Я думал, он всех переживет, особенно Микуню, но знал что-то своё ужасное вож, не зря сказал про стрелу томар – *знак*». Даже вспомнил вдруг шепот в острожке Пустом. «Да неужто правда?» – «А то как иначе? Фиск нынче рыщет везде». – «А воевода?» – «О том не бойсь». Непонятно шептались тогда в ночи сын боярский и вож. Какой фиск? Чего не нужно бояться? Но теперь уж и не узнаешь: нет шептунов. Выругался. Наклонясь, легонько коснулся Шохина. Почувствовал под пальцами замерзшую, как бы гладкую кровь. Отдернув заячье одеяло, увидел: ударили вожа ножом-палемкой в самое сердце. Хорошо знали, куда бить. Только потом перекрестили ножом лицо. Но почему никто не услышал?

Обернулся. Посмотрел на казаков хмуру.

Косой, Федька Кафтанов, Гришка Лоскут, Ганька Питухин, Ерило, Микуня подслеповатый, Ларька Трофимов, Елфимка, сын попов, – все теперь толпились у входа. На лицах красные

и зеленоватые отблески. Столько костров в ночи зажгли юкагиры, что не могли лица казаков выглядеть иначе. Если птица чернеет, пролетая над кострами дикующих, то лица от самого зеленого изменялись к самому красному. Понимали: Шохин сильным был. Тонбэя шоромах был.

А – убили.

## Глава III. Гологоловый

### **ЧЕЛОБИТНАЯ ТОРГОВОГО ЧЕЛОВЕКА ЛУЧКИ ПОДЗОРОВА, ПОДАННАЯ ИМ ВОЕВОДЕ ЯКУТСКОМУ ВАСИЛИЮ НИКИТИЧЮ ПУШКИНУ**

*А во прошлом во 155-ом годе в 5-й день велено было в Якуцком выдать к отписке соболи государевы.*

*У казенного анбара лестницы нет, отнесена под башню в ворота, на карауле стоял служивый человек Гришка Лоскут. Вот его и послали по лестницу, а он не пошел. И яз, торговый человечика Лучка Подзоров, его, Гришку Лоскута, спросил: для чего он по лестницу не пошел? А Гришка дерзко ответил: для того-де не пошел, что один в карауле, а сотоварыщи давно разошлись.*

*И того ж дня ты, стольник и воевода, тех караульчиков, срока раньше ушедших, велел добыть, хотел им дать поучение, бить батоги, потому что велено у казенных анбаров стоять всегда беспрестанно – для бережения, и для сплошного времени, и для пожару. А денищик твой, пришел, сказал: служилые сами идут в приказ.*

*И оне правда пришли. И с великим шумом и невежливо говорить стали: почему-де ты, стольник и воевода, бить желаешь людей? И почему не пускаешь людей с Ивашкой Ерастовым на новую реку Погычу, а пускаешь Мишку Стадухина? И почему ты на себя с казачьего хлебного жалования выворачиваешь одну треть? И ты, стольник и воевода, вышел в сени, начал выговаривать: зачем-де пришли с таким большим шумом? А служивый человек Гришка Лоскут предерзко ответил: а не бей нас, не дадим нас бить никого! И ты за то хотел Гришку зашибить рукой, но он ухватил тебя, стольника и воеводу, за груди и отпихнул прочь. И тут же стоя, крикнул злостно десятничешко Васька Бугор: сами-де самовольно пойдем теперь на новую реку! И ты приказал взять Ваську, а служилые люди никто за Ваську не примутца. И ты, стольник и воевода, принялся за него сам. Только служивый человек Гришка Лоскут, на которого крикнуто в Якуцке государево слово и дело, опять принял тебя за груди и поволок из сеней, а служилые, стоя на крыльце, кричали невежливо. И только яз, торговый человечико Лучка Подзоров, сирый и темный, в страхе решился отнять тебя от того Гришки. А другие так и кричали: чево-де здесь стоять, пойдем поемлем у торговых людишек суда их и всех покрученников! И, покричав, так и сделали: торговых людишек разорили, кочи взяли и самовольно на тех судех ушли вниз по Лене.*

*А ты, стольник и воевода, увидев такое, того ж часу посылал за беглыми сынов боярских да верных людей в лехких стругах и берегом на конях. Послал их уговаривать воров повернуть обратно: для чево, дескать, оне, простые служилые люди, крест целовав государю не изменять, вдруг взяли и изменою побежали?*

*А дерзкий вор Гришка Лоскут, гуляя страшно, отстал от других и ночью вломился ко мне в лавку. И меня, сироту твоево, в собственном доме хотел убить, грозил страшно ножом, все спрашивал: где нынче гуляющий брат его Паика, кабалы на которого у меня лежат? И яз, сирый и темный, сказал ему все, что слышал от всяких разных людей. Сказал, что с воров Сенькой Песком, ухо оттопыренное, ушел Паика. А жив ли, того не знаю. И еще сказал, убоясь ножа: нынче сын боярский Вторко Катаев ведет в сендуху большой отряд. И кажется, близко в те места, куда шел вор Сенька Песок.*

*Тогда, нож отняв, вор Гришка Лоскут бесстыдно гулял всю ночь. Учинил в доме моем большой разор, нанес много урону. Только утром совсем шел. А мне ведомо учинилось, что сей заворовавший человек правда встретился с отрядом сына боярского Вторко Катаева. И он, Гришка Лоскут, весь в кабалах, а теперь на него еще кабалы его брата вылегли. И яз, торго-*

*вый человекшика Лучка Подзоров, челом бью: вели наказную память слать по всем местам, где есть приказные люди, чтоб тово вора Гришку Лоскута и брата ево Пашку, буде объявлятица, переслать бы в Якуцк, да с каждого взять порушную память и бить батоги жестоко.*

*Царь государь, смилуйся, пожалуй!*

*К записке сей торговый человекшико Лучка Подзоров руку приложил.*

Последний день пути всегда самый трудный.

Шли тяжело. Продавливали короткими лыжами наст.

По правую руку темнели длинные извивы реки. Вдруг дымную воду выгоняло на лед сквозь трещины. Мороз не успевал схватывать – река сонно дышала.

Пора была переходить на другой берег, а Свешников медлил, всё искал места самого надежного, такого, чтобы будущее зимовье одной стороной прижималось к какому неприступному утесу, а другой смотрело на реку. Остальные стороны – ладно. От всего мира не отгордишься.

В небе свет осиянный, лунный.

Вроде совсем незнаемая земляца, а что-то узнается.

Писаные!

После смерти вожа дикое слово наполнилось новым тревожным смыслом.

Вчера еще писаные было просто словом. Одним из привычных. Таких, как, скажем, шахалэ – зверь рыжий, хитрый, носатый, лиса, если по-простому, или дед босоногий сендушный – медведь, а теперь слово стало страшным. И виделось, угадывалось, смутно виднелось за этим страшным словом рябое лицо вожа, посеченное ножом-палемкой.

– Это Ганька виноват! – зло повторял Кафтанов. – Держал караул лениво! Вот и засмотрелся на костры в небе, отвел глаза. А Христофор строго предупреждал: нельзя играть с писаными! – Требовал: – Лишить Ганьку доли!

Писаные!

Набегут из-за бугров, приставят к грудям копыя, ударят разом. Им крестов с груди не снимать, с рождения погрязли в большом грехе. Отпляшут победу у высоких костров, зажгут новые по самое небо.

Теперь Свешников еще внимательнее присматривался к казакам.

Ну, понимал, что совсем ненадежен Федька Кафтанов, он сам бы хотел занять место передовщика. Зато всяко привлекал к себе обиженного Ганьку и хмурого Гришку Лоскута. Чувствовал, что разговора с Косым и с Кафтановым не получится, а эти идут навстречу. Пытался понять: кого мог бояться вож? Кто мог бесшумно, как змея, не коснувшись спящих, вползти в тесную урасу? Кто без света, при одной смутной лампадке, точно определил, где дышит тонбэя шоромах, сунул под сердце смертную палемку?

Случайность, что зарезали Шохина? Или ждали в сендухе именно его?

Чаще стал вспоминать далекого московского дьяка. Вот, дескать, явится к тебе человек, назовется нехорошим литовским именем Римантас. Такому человеку можно доверять. Ну и что? Ну, явится. А поможет зверя найти? Дивился: и как это появление старинного зверя в Москве может произвести перемены? К добру ли? Почему сказал тот московский дьяк, что служить буду боярину Григорию Тимофеичу? И разрешил убить любого, кого сочту нужным?

Шли.



Над редкими ондушами, кривыми, черными, плыл в низком небе орел.

Сделав большой круг, упал на сухое дерево. Расслабив крылья, сидел как в черной шали, небрежно наброшенной на горбатые плечи. Он-то знал, кто живет в столь пустых местах. Свешников чувствовал в казаках большое смущение. Уж на что Ганька Питухин здоров, как лось, не труслив, а постоянно держит сабельку под рукой. И Федька Кафтанов идет быстро, внимательно. И Косой часто оглядывается.

Бледный снег. Раскоряченные ондуши.

Пора переходить реку, а Свешников все тянул.

Ну, версту. Ну, еще одну. Ну, еще. Наконец все же подал условный знак.

Первым перебежал напряженную, посиневшую, дымящуюся от черных промоин реку Гришка Лоскут. Перевел повизгивающих собачек, коричневые быки сами бежали за человеком. Взлетел на нартах на косогор, дал отмашку.

Тогда все перешли.

Теперь река темнела с русской стороны, а впереди под низким сумрачным небом лежал незнакомый край – страна старинного зверя холгута. Вот здесь и поставим зимовье, решил Свешников. Но вдруг крикнул вырвавшийся вперед Кафтанов:

– Изба!

Сразу не поняли.

Как изба? Какая изба?

Даже подумали: Федька, наверное, увидел низкие дымки дикующих, вот теперь и кричит. Расхватили оружие, запружили остолами нарты.

А Федька с бугра уверенно повторил:

– Изба!

Оставив аргиш за снежными выметами, Свешников, за ним Гришка Лоскут, сильно сторожась, часто оборачиваясь на готовых ко всему казаков, легкими перебежками поднялись на бугор, упали в снег рядом с Кафтановым.

Опешили. Впрямь изба! Да еще русская!

Угол крепко срублен в лапу, на крыше хитрым свинячьим ухом – сугроб.

Кругом до самого горизонта плоская сендуха, снег и снег, ничего, кроме белого снега, а на снегу – изба! И палисад – перед. И видно, что поставлен не для красоты, а для защиты. Правда, часть завалилась, даже упала. Зато над крышей – настоящая труба. Пусть слеплена из камешков, обмазана глиной, но настоящая! И дымком тянет.

Прижаться бы щекой... Полежать, раздевшись, в тепле...

Гришка тревожно округлил глаза:

– Кресты!

И Свешников увидел: стоят за избой два сиротливых креста. Оба в наклон, вырублены из цельных ослединок – бревен, выбрасываемых на берег течением. Печальные русские кресты. А неподалеку – покосившийся курульчик, лабазик на высоком пне, чтобы зверь не портил припасов.

Вот пришли. А куда? Кто в избе печь топят?

Может, знал такое вож Шохин, да теперь его не спросишь – зарыт в снегах.

Одно радовало: не придется ломать спины, строя зимовье. Кто-то уже поставил на берегу настоящую избу. Не очень просторная, но всех вместит. Казаки – люди государевы. Кто бы ни занимал избу, хоть воевода, должен потесниться для государевых людей. По знаку Свешникова Кафтанов сполз со снежного бугра, бегом добежал до уцелевшего палисада. Укрывшись, крикнул:

– Эй, в избе! Есть крещенные?

Даже эхо не отозвалось, чему Кафтанов немало изумился:

– Неужто съели тут всех людей? Неужто всех до одного съели?

– Не всех, – весело оскалился Гришка, тоже сбегая с бугра к палисаду. – Чуешь, как несет дымом?

Сбросив лыжи, Свешников присоединился к казакам.

Смутно уставилось на казаков крошечное окошечко, в него вморожена мутная льдинка.

– Есть кто?

Вжались в сугроб.

На невысокое крылечко без перил, прихрамывая, нелепо вихляясь, хватаясь длинной рукой за простые деревянные столбики, подпирающие выступающий край крыши, приборматывая странно, даже слегка как бы постанывая, выскочил из распахнувшейся двери необычный согбенный человек. На плечах кукашка из задымленных соболевых пластин, но шапки никакой – голова голая, аж блестит. Ни единого волоска. Весь, как большой барин, утопал в богатых мехах.

– Чего так оделся? – завистливо шепнул Кафтанов.

Неодобрительно покосился на вытертые ровдужные кафтаны Свешникова и Лоскута, а гологоловый тем временем, весь трясясь, приборматывая, совсем бесстыдно справил с крылечка малую нужду (там весь снег был желтым) и затомился:

– Плачу и рыдаю...

Срывающийся голос был полон невыразимой тоски.

– И горькими слезами землю омакая... К твоим государьским честным ногам главу свою подклоняю... Буди ми помощник и заступник в сей моей беде и напасти... Чтоб ми бедному и с червишки вконец не пропасти...

– С какими червишки? – испугался Кафтанов.

– Дикует, – догадался Лоскут и осторожно выступил из-за деревянного палисада. – Эй, добрый человек? Чего дикуюешь?

Гологоловый враз замер. Вот низко наклонялся, размахнув широко руки, и так враз замер. Выпуклые, круглые, как у рыбы, глаза остекленели: «Чур меня! Чур!» Разогнулся, впрыгнул в избу, грохнул засовом.

Но секунды не прошло, как выскочил обратно.

– Англу! – закричал.

– Чего это он?

– Дикует.

– Ну, если и дикует. Зачем такое кричать?

– Эй, добрый человек! – осторожно окликнул Гришка. – Ты не маши руками.

Гологоловый затрясся. В величайшем возбуждении, в нетерпении, наверное, в неверии – обхватил руками нетолстый деревянный столбик, вытаращил выпученные глаза, затряс богатыми мехами: «Англу!»

– Ты погоди, ты не ори, – посоветовал гологоловому Лоскут, из предосторожности не снимая руки с сабельки. – Писанные рожи набегут, выхватят палемки.

Спросил, строжась:

– Имя есть у тебя?

– Англу! Русские! – вопил гологоловый, как настоящий дикующий. Он даже пританцовывал на крылечке, будто бежать хотел. – Аще помилован еси, государь, от небесного царя! Англу! – Приседая нелепо, прижимался щекой к деревянному столбику. – Пожалуй нас, грешных, и призри в конечной сей беде... Да и даст ти Господь благая и полезная получати везде...

Вдруг потрясенно уставился на Лоскута:

– Ты пришел?

Густо брызгая слюной, путая русские и одульские слова, заговорил:

– Почему не узнаешь меня? Лисай я. Ты же помнишь. Я помяс, травник. Всех вас выхаживал целебными травками, только устал наконец. Сижу один в сендухе, повторяю одно: умру скоро, скоро умру! И никого вокруг! Эр оран муданин, говорю себе. Ох, умру скоро!

Вытаращился в изумлении на Лоскута:

– Как жив?

Даже отшатнулся, отмахнулся рукой от Гришки, как от ужасного видения:

– Зачем пришел? Тебе лежать надо. Я ведь похоронил тебя!

– С ума соскочил? – оторопел Гришка. – Что несешь, дикующий?

– По-христиански тебя похоронил, – настаивал гологоловый. – Конечно, в суете, в страхе, иначе как, но ведь по-христиански. Сам видишь, поставил над тобой деревянный крест. Это ты под ним лежишь!

С испугом спросил:

– Как откопался?

Кафтанов заржал:

– Гришка, не соглашайся с гологоловым!

– Молчи, дурак! – Гришка Лоскут шагнул к крылечку и поймал помяса за богатую грудь. Вывернутые ноздри раздуло гневом. – Ты, наверно, принял меня за брата? А? За Пашку? А? Был брат у меня, ноздри наружу вывернуты. У всех в нашем роду так. Почему похоронил?

– Дикующие зарезали.

Гришка сильно тряхнул помяса.

– Зарезали, зарезали, – отчаянно прохрипел помяс. – Той всем нам надежда, и упование, и промысленник, и кормитель... И на все видимыя враги наша непобедимый прогонитель... – Отряхиваясь, брошенный Лоскутом, забегал глазами. – Фимка где?

– Какой Фимка?

– Ну как? Фимка! Вож!

– А! Такой? – догадался Кафтанов и рукой сдвинул кожу на лбу, страшно и похоже, совсем как у зарезанного Шохина.

– Он! – обрадовался помяс.

– Ну, и его зарезали.

Кафтанов оттолкнул в сторону помяса:

– Один живешь?

Шагнул в избу, а там темно.

У входа грубый деревянный стол.

В бесформенной каменной печи, обмазанной серой глиной, теплился огонь. Сквозь щели сочился дым. На огне – закопченный медный горшок, от него несло тухлятиной. Вдоль стен – грязные лавки, под матицей – пучки сухих трав. И везде грязь, сажа жирная, будто бархат.

Свешников потянул с головы шапку.

Понял с истинным облегчением: пришли!

Теперь можно обогреться, прежде чем начинать поиск зверя.

Даже если поставили избу воры Сеньки Песка, это теперь неважно. Служила изба ворам, теперь послужит государевым людям. Сильно дивясь, разглядывал помяса. Вон на нем какие богатые меха. И говорит, что ждал какого-то Фимку. Выходит, вожа Христофора Шохина ждал. Выходит, правда с тайной был человек. А вот зачем ждал? Подумал без ревности: вел, вел я людей по снежной пустыне, считал, что приду самым первым, а оказывается, и здесь воры побывали.

Кивнул Кафтанову:

– Зови людей.

А Лоскуту приказал:

– Помяса не трожь. Даже близко не подходи к нему.

Гришка угрюмо промолчал. Прошелся по грязной, но теплой избе, толкнул тяжелую дверь, ведущую в казенку, в комнату, в которой обычно держат пойманных аманатов – заложников.

– Милуючи, Господь Бог посылает на нас таковыя скорби и напасти... Чтобы нам всем злых ради своих дел вконец от него не отпасти... – смятенно бормотал помяс, с испугом косясь на Гришку. – Потом как очнулся. – Один в сендухе. Давно один. Ньюума. Думал – отпоют ветры. – Постучал ссохшимся кулаком в грудь. – Русского лица год не видел. Душой ослаб.

– Ньюума? Это чего? – озлился Лоскут. – Говори по-человечески.

– Это я говорю – слаб я, убог.

– Гришка, оставь помяса!

Даже оттолкнул Лоскута, упрекнул негромко:

– Я тебе, Гришка, верю, а ты, оказывается, догадывался, куда идем?

– Ну. Догадывался. Что с того?

– Я к тебе с верой.

Гришка глянул исподлобья:

– Меня не вини. Я сам по себе шел. К сыну боярскому пристал случайно, сам знаешь. А о том, что брат на Большой собачьей реке, тоже узнал случайно – от одного торгового человека. Лежат у него в Якуцке кабалы на моего брата. Иногда мне кажется, что тот торговый человек сам по желанию тайно снарядил воров. А брат увязался с Сенькой Песком по дури. Тот торговый человек ждал, наверное, беззаконной прибыли.

– Почему не сказал?

– Я ж только догадывался.

– Ну ладно, оставим. – Свешников устало присел на лавку. Попросил: – Глянь, что у помяса кипит в горшке.

Гришка громыхнул крышкой и ошеломленно отшатнулся от ударившего в нос скверного духа.

– Зелье колдовское? Аптах ты?

– Да нет! Не колдун я. А варится холгут! – Помяс в отчаянии вскочил, сунул в темное кипящее варево длинную деревянную ложку. Попробовал, выпучивая глаза. – По бедности своей ничего не имею, питаюсь скаредной пищей.

Теперь опешил Свешников:

– Как холгут?

– Зверь, зверь такой, – затрясся помяс. – Турхукэнни, корова подземная!

– Нет, ты слышь, Степан? – оскалился Гришка Лоскут. – Вот ты вел нас, мы шли, совсем не веря, а холгут был, только его помяс съел.

– Как такое посмел? – вскочил Свешников.

Будто не было долгих дней трудного лыжного перехода, вскочил, вырвал длинную ложку у растерявшегося помяса. Глиняный неаккуратный горшок курился на печи, дрожал в нетерпении, крутились в кипятке бурые куски.

– Где такое добыл?

– Да рядом. На берегу.

– Правда холгут? Корова подземная?

– Он, он! Холгут! С рукой на носу! – трясся, дергался помяс, языком подпирал небритую щеку от большого усердия угодить.

– Как добыл такого большого? Он идет, земля вздрагивает.

– Да сам разбился. Там на берегу полоска ледяная, песчаная, называется чохочал. Ну, шел зверь и грянулся вниз с обрыва. А высоко. Лед твердый и зверь тяжелый. Сразу насмерть, весь поломался, застыл на морозе. Теперь питаюсь.

– Небось, и человечину жрал? – остервенился Лоскут.

– Что ты! Что ты!

Глухо.

Вваливаясь в избу, казаки напустили холоду.

Смеясь, окружили горшок. С отвращением приноживались, оторопело качали головами – ну, дивен, дивен божий мир! Только вчера совсем без края снеговая равнина, в небе отсвет далеких юкагирских костров, а сегодня – русская изба. Только вчера загадочно и жестоко зарезанный в уресе вож, а сегодня – нежданно и счастливо обретенный травник. Только вчера всеобщая неясность, томление, мгла, а сегодня – мясо старинного зверя.

Дивны дела твои, Господи.

По-другому поглядывали на Свешникова.

Вдруг почувствовали: запахло большой удачей.

Даже Микуня расхрабрился, прикрикнул на трясущегося помяса:

– Часто приходят писанные?

Помяс еще сильнее затрясся:

– Присовокупи еси велие милосердие во всем... Всякого приходящего к тебе не оскорбляючи ни в чем... Один сижу, – зашептал, бегая глазами. – Писанные, какие были, все откочевали. В сторону дальних уединенных речек откочевали. Если вернуться, только к лету. – Выпучив выпуклые глаза, уставился на Свешникова. – Положим же паки надежду на всемиластиваго в щедротах... Он же избавил своего Израиля, бывшего во многих работах... В сендухе много озер, – шептал, вздрагивая. – На веретях сухих пески хрущеватые. А по пескам пасутся подземные коровы. Выходят вдали от человеческого глаза прямо из-под земли. Выходят наружу шумно, с громом и с трясением земли, но сами по себе тварь безвредная. – Косился на мрачного Лоскута. – Сего ради премудрым своим промыслом и правдою все устроит... И аки коня браздою, тако и нас тацями бедами от грех возражает... – Пояснил, трясясь: – Я помяс. Лисай звать. Всякие травки знаю. С таким знанием не оцынжаешь в сендухе.

– Нам дашь травку? – жадно сглотнул слюну Микуня.

Не обращая внимания на вопли и смятение гологолового, отворачиваясь от бьющего в нос пара, Ганька Питухин недоверчиво выбросил вонючую носоручину собакам. Подмели избу, внесли сумы с припасами, выставили на стол настоящую посуду. Помяс задрожал:

– И сольца есть?

Кафтанов шлепнул помяса по руке:

– Куда лезешь первым? Ишь, сольцы ему захотелось! Сам, небось, сольцу в Якучке брал пуд по пяти копеек, а теперь та сольца сильно вздорожала, Лисай. Теперь за ту сольцу кладут до двадцати копеек. Вот как повернулась жизнь. Да еще пошлина, чуть не полукопейка с фунта. – Хитро поиграл глазами. – Ты тут дикуешь, а цены на Руси растут.

Перехватив сердитый взгляд Свешникова, кивнул:

– Ладно, бери.

Благостно.

– Аще бы не тако нас возражал, и зверей бы дивных горше были... И паки бы вконец друг друга и брат брата не любили... – Помяс обильно потел. Завороженно дергался. Тянул кипяток, настоящий на шиповнике, шептал: – Что же нас и так лютее и жестокосердее? Кое естество в бессловесных?.. И кто может исчести, колико бывает над нами смертей безвестных?..

Пояснял, трясясь: «Я – помяс».

Пояснял: из рода потомственных помясов.

И отец, и дед были потомственными травниками.

Вот, пояснял, послан в Сибирь строгим государевым наказом, на то есть специальная память. Учился травному делу у деда своего, у известного помяса Федьки Устинова. А тот дед был такой: слышал явственно рост трав, зарождение всего живого. И он, Лисай, в него пошел. Меня сам князь Шаховской-Хари Семён Иванович, вдруг похвастался, воевода енисейский, человек, шествующий путем правды, скромный и простодушный, послал на реку Большую собачью – принести особенно целебные травы, какие нигде больше не растут.

Как бы намекнул: близок к князю.

Князь Шаховской прост, широкой душой добр.

В Смутное время ссылался в деревни, потому как по некоей ошибке сражался на стороне тушинского вора. А в одиннадцатом году воевал под Москвой в ополчении. По избрании на царство государя Михаила Федоровича послали князя Шаховского под Смоленск на поляков, там был жестоко ранен. За челобитную, в коей дерзко жаловался, что совсем заволочен со службы на службу, снова был выслан, теперь на Унжу. Здесь отдыхал душой – писал разные летописи, похвальные слова святым, каноны, послания. Одну за другой потерял трех жен, болели сильно. Женился в четвертый раз, но его развели. Тогда он написал умильные послания к патриарху Филарету и к тобольскому архиепископу Киприану с просьбой, чтобы все же позволили жить с четвертой женой. Выставлял как причину – молодость, невозможность жить без живой женщины. Вот, жаловался, я с первой женой прожил всего год – Бог взял. Со второй без малого год – снова Бог взял. И с третьей не больше года. Не успеваю, мол, и пожить с ними.

Служил в Тобольске. Потом по милости государя в Енисейске сел воеводой.

Рассказывая, Лисай причмокивал губами. Вот-де аптечный приказ в Москве велик, на всю Москву трав не напасешься, а на Руси всех лечить надо. Все больны, всех лечить надо, подтвердил. Князь Шаховской правильно послал на Собачью реку, тут множество сильных трав. Ошеломленно отворачивался от Лоскута. Опять страстно причмокивал губами. Вот у него во многих местах сендухи поставлены малые курульчики, а в них сложены запасы разных трав. Коренья да верхки, да и сам лист. Он, Лисай, тщательно перебирает траву, очищает от пыли, подсушивает у очага, но, конечно, на самом легком духу, чтоб травка не зарумянилась. Сопя, обильно потея, похвалялся: у него травка разная. Есть, например, трава пушица. А есть бронец красной. Ну, конечно, изгоны, людены жабные. Он знает, кого от чего лечить.

С опаской оглядывался на Гришку Лоскута.

– А есть особенная трава, – объяснял, – колун именем. На ней цвет бел. Сама горькая, растет не при всех водах, нелегко такую сыскать. И есть совсем уже особенная трава – елкий. На ней семя коришневое, што мак русский.

– Ты это, – осоловев от тепла и сытости, подсказывал Федька Кафтанов. – Ты, Лисай, от нас ничего не скрывай.

– Да как это так можно!

– О том я и говорю. Нам все покажешь.

– Я все покажу! – радовался, трясся помяс. – Всех подниму чуть свет!

– Я вот ты подниму чуть свет! – погрозил кулаком Кафтанов, жадно, в который раз оглядывая соболью кукашку. А Лисай, не поняв, бубнил свое. Вот мы, мол, помясы, люди нужные. Нас даже воевода не вправе обижать. Ежели известный травник работает при каком живом селе, то все жители обязаны чинить ему всякое вспомогательство, вплоть до того, что давать еду и малых ребят в помочь.

– Степан, а как с караулом? – зевнул Кафтанов, мелко крестя грешный рот.

– Вот ты и встанешь первым, – решил Свешников. – А сменит тебя Лоскут. Ну а под утро стоять Михайлову.

Укладывались на полу и на лавках.

Пусть в тесноте, но впервые по-человечески.

– Зане же всего сильнее бывает чистая к Богу молитва... И на невидимья врага, аки некая изощренная бритва... – ошеломленно шептал помяс. – Ей-ей, тако не ложно, без нея быти невозможно... И еще ми много слово недостало рещи о твоём мужестве и храбрстве... И о совершенной твоей добродетели к Богу, и душевном паки богатстве...

– Чего это он?

– Вирши, – неопределенно объяснил Свешников.

В голове мутно, ломило суставы, но, кажется, пройден путь.

Не всё, конечно, случилось как надо: сын боярский отстал в безлюдье, вожа потеряли совсем, теперь откуда-то объявился гологоловый. Да еще стрела томар, да береста со знаками. Того и гляди войдет в избу человек, назовет литовское имя – вспомнил доброго барина Григория Тимофеича. Вот возглавляет теперь Григорий Тимофеич аптекарский приказ, значит, помяс истинно на него работает. Вспомнил вирш, приводившийся в книге «Азбука»: «Ленивые за праздность бьются...» Как дальше, забыл. Все равно видно, что князь Шаховской-Хари немалый выдумщик. Укладываясь, строго погрозил пальцем Кафтанову: увидел, как Федька, собираясь в караул, хитро одними глазами указывал Косому на богатую соболью кукашку помяса. С каким-то таким особенным значением поднимал брови.

А помяс не видел, бормотал ошеломленно:

– Милуючи, Господь Бог посылает на нас таковыя скорби и напасти... Чтоб нам всем злых ради своих дел вконец от него не отпасти... Свойственно бо есть христианом в сем житии скорби и беды терпети... И к нему, своему Творцу и Богу, неуклонно всегда зрети...

## Глава IV. Баба

### ОТПИСКА ЯКУТСКОМУ ВОЕВОДЕ

#### **ВАСИЛИЮ НИКИТИЧУ ПУШКИНУ ОТ СЛУЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА КОРМИЩИКА ГЕРАСИМА ЦАНДИНА**

*...писано и велено нам всех земель и рек пройденных начертити чертеж, да расспросити сибирских людей всяких встрешных: сколько недель и дней от которова стойбища до которова ездю и сухим, и зимним, и водяным путем ходу, и сколько от которова стойбища до которова ездят зимним путем на собаках или олешихах, и твои, государевы, воеводы и приказные и всякие люди, как их посылают на твою, государеву, службу в края дикующих, какие люди до которова стойбища на сколько дорог идут, и сколько в которую сторону недель и дней гоньбы, и сколько до Москвы отсюда порознь верст или днщ сухим и водным путем и волоками, и которою рекою до какова стойбища ходят, и которыи теми дорогами пользуются. (В документе вырывы, пятна, подмоклость общая.) ...и шли и сушией и гребью, потому что ветры часто шли встречные. Не раз до завороту удобного приходила туча з дожжжом, и парус на коче совсем изодрало, и сапец у коча выломало, и павозок разбило, и коч с якорей сбило и прибило за Кошку. Водой у шести недель дожидались пособных ветров, а их не было, а бес пособных ветров до нужных мест дойти было совсем не мочно. Стало поздно, море стало мерзнуть, и льдов стало много, и земля замерзла, а лесу никакова нет. Но послали силой своею сию память с чертежником мы, холопи твои, коли нас не същут, хоть знать будут пройденный путь, так всегда делали. Помнить надо, что путь не прост, и твоим, государевым, служивым людям, которые посыланы будут к нам, в морском ходу вдосталь будет мешкота, а лесу не довести ж, потому что бывают им встрешные ветры и кочи бьет... (Последующее вконец водою испорчено.)*

Полярная куропатка долбила ночное небо.

В пепельных сумерках дрались в ветвях лиственницы пуночки.

Продрог, обходя избу Ларька Трофимов. Останавливаясь, завистливо прислушивался: вдруг страшно возвышался храп в теплой избе. Ухмылялся, когда кто-то выскакивал на крылечко справиться малую нужду. Грелся, прислонясь спиной к боку теплого оленного быка.

Глухо.

Долгий сон изломал тело.

Свешников ворочался, вздыхал в полусне.

Получалось, что всё знал вож Шохин про вора Сеньку Песка. Так хорошо знал, что сразу решил пойти на Большую собачью каким-то известным ему путем. И сын боярский ждал его, не брал других вожей. Значит, сам всё знал. Ведь поминали в острожке Пустом шепотом воеводу и еще что-то. А здесь на реке гологоловый дикует. Тоже, выходит, знает многое, как некий торговый человек в Якуцке – Лучка Подзоров. Наверное, специально поднял воров этот Лучка, ссудил их тайным запасом, чтобы из утаенного от казны ясака получить свою часть. Подан ли был вожу тайный знак срубленной ондушей или, наоборот, пугали его, не хотели, чтобы поднимался к зимовью? Иначе зачем так ужаснулся стреле томар? И, наконец, кто зарезал Христофора?



Поднялся.

В избе душно.

Казачи ворочаются, постанывают.

Длинный Ерила бьет ногой под одеялом, будто рысь на него накинута.

Почесывая бороду, продавил ледок в деревянной, неведомо как попавшей в сендуху кадке. Накинул кафтан, вышел на крылечко:

– Ларька!

– Здесь! – вырос послушно Трофимов.

Борода белая от инея, меховой капор заиндевел.

– Покойно стоял?

– Покойно.

– Растопи печь, потом отдыхай. Но сперва растолкай помяса.

– Это как? – удивился Ларька.

– Как получится.

– Так сшел помяс, нету его.

– Как сшел? Куда?

Ларька пожал плечами:

– Откуда ж мне знать? Забрал верхового олешка и сшел.

Рукой указал:

– На полночь.

Ну, на полночь – там льды, там тьма, там пуржит.

На полночь люди не убегают. Это только в пьяных кружалах говорят, что на полночи, если уйти совсем далеко, будто открывается чистое море, настоящая голомень, а над морем – веселые теплые острова. На самом деле не так. Герасим Цандин, опытный кормщик, сам дважды ходил на полночь. И оба раза деревянный коч намертво затирало льдом. Нигде там ничего не встретил, кроме льдов.

Пепельный полумрак.

Подумал: а весна все равно идет.

Ондуши черны, скоро покроются нежной зеленью.

А главное, подумал, успокаиваясь: знаем теперь – есть, ох, есть в сендухе живой зверь. Не зря пришли. Ходит по лужкам в сендухе старинный зверь – рука колечком, трубит за бугром. Вконец замучаем себя, но опутаем зверя вервью.

Цыкнул на сунувшуюся к ногам собачку. Вот тоже интересно: как тут выжил Лисай? Всех зарезали, а он дикует. И Христофора Шохина называет Фимкой. И кукашку носит богатую. Подумал: стольник и воевода Пушкин Василий Никитич скуп, но тверд. Указывая на секретность похода, мало всего дал сыну боярскому Вторке Катаеву. Зато обещал, наверное. Много мог обещать. Наказывал, наверное, строго досматривать любое незнаемое зимовье. Если не на казну работает человек, у такого все досматривать – и зимовье, и суммы, и коробья. И если найдется утаенная мяхкая рухлядь, таких наказывать жестоко, а добро иметь в казну.

Да, богатая у Лисая кукашка.

Сам обут в простые щетки – сапоги, пошитые из кожи, снятой с ноги олешка, головой бос, трясется, как русская осинка на ветру, а кукашка у него богатая. Так не бывает, чтобы бедный человек ходил в такой богатой кукашке и ничего не имел другого. Ведь сам намекал на некие малые курульчики. В них, наверное, не только трава. Может, так рано метнулся в сендуху, чтобы перепрягать некоторое добро из одного курульчика в другой?

– Здоров ли?

Обернулся – Гришка Лоскут.

Прямо с утра хмур. Борода спуталась, ноздри вывернуты.

А из-за Гришки выглянул, хлопнув дверью, Косой. Этот худой, веселый, положил крест:

– Ну, смердит из казенки!

– А ты чего ждал?

– Я-то ничего, – ухмыльнулся Косой и тоже вспомнил: – Да уж очень богатая у помяса кукашка! Это при носоручине-то, да?

Федька Кафтанов выглянул на крыльцо и услышал слова Косого.

– Да ты что говоришь? Какая богатая кукашка? Да ну! – Подчеркнул свои слова презрительным жестом. – Такой она только кажется. А сама поношена, побита. Плешиветь скоро начнет. Я точно знаю, потому как терплю на ней поруху.

Объяснил, отворачивая хитрые глаза:

– Вы вчера как уснули, так Лисай пристал ко мне. Спать прямо не дал. Уж он и так, и этак. Ну, шепчет, понравилась мне твоя ровдужная дошка, Кафтанов. Разношенная, крепкая, видно, что шилась на крепкого человека. Отдай, дескать, мне свою дошку. Я, говорит, давно мечтал ходить в такой. А ты, говорит, бери в обмен мою кукашку, мне она надоела.

Помолчал, солидно пригладил бороду:

– Я согласился.

– Ну дурак Лисай! – завистливо выдохнул Косой.

Выходили и другие казаки на крыльцо. Привыкая к зимовью, толкались, посмеивались над дураком помясом. Кафтанову никто не верил: побил, наверно, помяса Федька. С некоторым особенным смыслом косились на Свешникова: что на такое скажет передовщик?

– А вон и помяс!

Со стороны дымящейся черной и одновременно синей, как грозное небо, реки к зимовью напористо шел верховой олень с двумя выучными сумами на коричневых боках. Рядом семенил Лисай. Подпрыгивал, как птица, прихрамывал, вскидывал длинными руками, но семенил бодро. И бедно, очень бедно выглядела на нем потертая и короткая кафтановская дошка.

– Ишь, вырядился! – посмеивались казаки. – Что такое везет? Неужто всем, как Федьке, хочет поменять дошки на собольи шубы?

Микуня еще издали крикнул: «Здоров ли?»

Помяс, трепеща, болезненно вихляясь, быстро перекрестился. На Гришку Лоскута и на Кафтанова глянул с ужасом. Длинной рукой похлопал по сумам:

– Носоручину привез. Для собачек.

– Зачем один ходил? – сердито спросил Свешников.

– А пожалел тебя. Ты хорошо спал. Ну ровно робенок.

– «Робенок»! – рассердился Свешников. – Ты за такое снова пойдешь. Прямо сейчас.

Не слушая причитаний помяса, крикнул Гришке готовить собак. Заодно обругал Кафтанова: ты убогих, дескать, обираешь, Федька!

Кафтанов ухмыльнулся: «А мы с помясом по-доброму. Сам спроси».

Свешников отвернулся. Его нетерпение жгло. Нетерпение увидеть старинного зверя! Наяву убедиться, что не придуман, что действительно существует, что не зря привел людей в дикую сендуху. И собаки будто чувствовали нетерпение передовщика – сразу взяли в разгон. Помяс, вцепившись в дугу барана, только пугливо оглядывался, шалел от скорости, тряс неряшливой бородой, все порывался что-то сообщить Свешникову, а мимо так и неслись то курульчик на высоком пне, то крест в наклон. И одна за другой – траурные ондуши.

Гнали к реке по следу учуга.

Река ледяная, страшная, вся в разводах, распухла, посинела как утопленник за последние дни. Тёмно и тяжело колебалась под самым обрывом, а дальше виднелась еще одна полоса воды, выкатывающейся на лед.

А на сухой ондуше – орел. Поворачивает голову в профиль. Смотрит, не моргая, круглым, как бы бельмастым глазом. Потом снова быстро поворачивает голову, смотрит другим. Ну прямо двуглавый, опешил Свешников. Утверждается государство.

– Река тут как направляется? – крикнул помясу.

– А на полночь, – затрепетал помяс.

– Коч может подойти снизу?

– С моря? Дойдет.

– А писаных много? Сердиты или мяжки нравом?

Помяс замешкался. Свешников тут же ткнул его кулаком в бок:

– Мне, Лисай, отвечай сразу. Я теперь тут главный человек на всю сендуху. Как бы государев прикащик. Понял? Зимовье, срубленное ворами, тоже теперь – государево. Понял? Служило ворами, пусть служит государевым людям.

Помяс недоверчиво тряс непослушной головой.

– Вот ты говорил, сошли писаные в сендуху, будто только летом вернуться.

– Ну, говорил, – трясся помяс.

– А почему сошли?

– Не знаю.

– Все сошли?

– Все.

– А кто ж тогда Христофора зарезал?

– Как, как мне знать такое? – Помяс задергался, захрипел.

Пришлось Свешникову обхватить его сзади, прижать к барану.

– Не пугай собачек, Лисай, бородой не дергай. Если я спросил, отвечай правду. А то все твердишь: пусто, пусто в сендухе. Но Христофора-то зарезали! Сунули палемку в сердце. Ночью. Прямо в уресе темной.

Крикнул в ухо помясу:

– Кто?

– Да как мне знать?

– А почему вожа называешь Фимкой? От кого таишься в зимовье? Что стережешь, как ворон, в сендухе? Ты мне сейчас отвечай. А то потом придется отвечать перед всеми казаками.

По словам Лисая всё было так.

Воровская ватага Сеньки Песка вышла из Якуцка самовольно.

Кто-то, конечно, сильно помог ворами припасом (торговый человек Лучка Подзоров, отметил про себя Свешников). Вышли с желанием взять богатый ясак с дикующих. На себя взять, без ведома властей, не отдавать государю. Сам этот Песок – из бывших дьяков, отчаянный. Когда-то служил в Казанском приказе. Известно, единого свода законов на Руси нет, дьякам жилось привольно. Судебник для вершения дел составлен еще при царе Иване Васильевиче: невежда дьяк даже и не захочет, да запутает любое дело. А умный всегда повернет как надо.

Песок из умных. На том и попался.

Били ослопьем, выслали далеко в Сибирь.

Там ходил в гулящих. Ухо оттопырено, за голенищем нож. Года два назад подбил человек десять. Ну, увязался с ними еще Пашка Лоскут. Этот, похоже, больше по дурости. Решили сойти с Якуцка в сендуху и дерзко взять ясак на себя. Особенно осторожно вору обходили острожек Пустой, знали, что сидит в нем вредный десятничшко Амос Павлов. А вел ватажку Фимка Шохин, зачем-то потом, может, для важности назвавшийся Христофором. Если настоящему, пояснил помяс, то все же Фимка, а не Христофор. В любом случае вору его так звали. Фимка и наткнулся в сендухе на помяса Лисая. Уже за острожком Пустым – на воль-

ном берегу реки Большой собачьей. Сам Лисай никогда не примкнул бы к вора́м, его силой заставили.

В сендухе поставили зимовье. Осматривались.

Шли дни. Моросил дождь. Приходили красные лисы, без всякого испуга смотрели на незнакомых людей. Одна́ раз воры Песок да Шохин грозно нагрянули на разбитое поблизости стойбище писаных, напугали сендушный народец, взяли хорошего аманата по имени Тэгыр. Это Лисай хорошо запомнил. Фимка Шохин, ужасно помаргивая красным веком, прямо сказал писаным: вот принесете богатый ясак, вернем вам аманата живым. А не принесете ясак – зарежем.

Пока писаные собирали по стойбищам мяхкую рухлядь, смирный аманат Тэгыр сидел в казенке, пел дикие песни и резал из дерева разнообразных болванчиков. Потом родимцы принесли богатый ясак – настоящие собо́ли-одинцы, коим пары нигде не сыщешь, и собо́ли в козках, и пластины дымчатые. Над глупым Лисаем воры смеялись: ты, дескать, не в доле, ты сам по себе. Ты, дескать, пришел в сендуху бедным и вернешься бедным. Требовали целебных трав, куражились.

– Отраднее будет Содому и Гоморре, нежели тому роду... Приличны же и мы к сему речению, поне забываем прежнюю свою невзгоду...

Я один, горько жаловался помяс, отворачиваясь от ветра.

Я один, а воров много и все в одиначестве, делали что хотели.

Ужасный вож Фимка взял, например, за долги красивую дикующую бабу – ясырку, держал при себе. Сам страшен, как дед сендушный босоногий, весь лоб сдвинут набок, так и прирос, как медведь хотел, а красное веко выворочено, голос хриплый, лающий, – а красивую взял дикующую. А она, похоже, и рада. Как иначе? Тонбэя шоромох. Нравился ей Фимка.

– Сего ради не на тщету, не на пользу дает нам такие казни... Чтоб нам жити пред ним, своим творцом, не без боязни...

Горько жаловался Лисай. Этот вор Фимка драл писаных пуще, чем сам Сенька Песок. Тот даже чесал за оттопыренным ухом: уж больно ты жесток, Фимка, я тебя боюся, уймись. Распугаешь писаных, уйдут в сендуху. А Фимка не верил. У него-де сидит в казенке аманат Тэгыр. Соберутся если писаные уходить, мы аманата на нож посадим.

И Пашка Лоскут, глупый, тоже скалил зубы: посадим.

Так оно и шло ровно. Писаные несли ясак, аманат пел в казенке дикие песни и резал ножом деревянных болванчиков. Лисая воры не таились, при нем гадали, каким путем надежнее будет выходить с Большой собачьей к человеческому жилью. По разговорам так выходило, что есть вроде бы у воров в Якучке важный пособник, некий крупный шиш, может, торговый человек (ну да, Лучка Подзоров, качал головой Свешников). Похоже, это он ставил вора́м припасы. И мяхкую рухлядь теперь собирался выкупить.

Лисай терялся: да груз-то большой, как обойти заставы?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.